

Владимир  
Колганов

*ПИСАТЕЛИ*  
*И*  
*СТУКАЧИ*

История  
литературных  
доносов

16+

Владимир Колганов  
**Писатели и стукачи**

«Автор»

2020

**Колганов В. А.**

Писатели и стукачи / В. А. Колганов — «Автор», 2020

ISBN 978-5-532-06815-5

Книга рассказывает о писателях, ставших жертвами необоснованных обвинений, а также о критиках, авторах «разоблачительных» статей, которые литературная общественность квалифицировала как доносы. При создании книги автор руководствовался исключительно добрыми намерениями – оправдать несправедливо обвинённого или найти дополнительные доказательства в подтверждение приговора, который вынесла стукачу литературная общественность. В книге упомянуты около полусотни литераторов и критиков, в частности: Бабель, Эрдман, Мандельштам, Пильняк, Платонов, Шолохов, Булгаков, Солженицын, Синявский, Хармс, Гайдар, Грин, Корнилов, Берггольц, Бедный, Коваленков, Кузнецов, Шагинян, Никулин, Кольцов, Лесючевский, Эльсберг.

ISBN 978-5-532-06815-5

© Колганов В. А., 2020

© Автор, 2020

## Содержание

Вступление	6
Глава 1. Лев Никулин, ОГПУ и Бабель	9
Глава 2. Признания Михаила Кольцова	14
Глава 3. Опасные игры Пильняка	20
Глава 4. Этот ужасный Лесючевский	34
Глава 5. Баллада о поэтах	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Владимир Колганов

## Писатели и стукачи

*«Всякий писатель – доносчик. А всякая литература – донос».*

*Фредерик Бегбедер, «99 франков»*

*«Владыко мой! К чему сии доносы? Что в них завертывать?»*

*Николай Лесков, «Соборяне»*

## Вступление

Сразу поясню, что в этой книге я не претендую на открытия. Всего лишь пытаюсь обобщить известные факты, добавив то, что не известно большинству читателей. Затем придётся проанализировать доказательства вины тех лиц, которых принято называть доносчиками, а в результате – кого-то оправдать, а для других оставить в силе приговор общественности. Надеюсь, что, прочитав эту книгу, многие будут удивлены моими выводами.

Начну с определения доноса. По мнению составителей словарей, донос – это тайное сообщение представителю власти о чьих-либо действиях, которые, по мнению доносчика, подлежат немедленному осуждению. В качестве классического образца подобного доноса я бы предложил следующий текст:

«В ФСБ и Министерство культуры РФ. Довожу до Вашего сведения, что некто Владимир Алексеевич Колганов, появившийся на свет в роддоме имени Грауэрмана на Арбате и выдающий себя за литератора, распространяет сведения, порочащие честь популярного писателя и журналиста...».

Ну и так далее, в соответствии с личными привязанностями автора доноса и его литературным вкусом.

Увы, приведённое чуть выше определение доноса оставляет вне зоны нашего внимания критические статьи и даже книги, которые оскорблённая общественность нередко считала средством клеветы, сведения личных счётов и, соответственно, поводом для привлечения автора к ответственности. Поэтому я вынужден отбросить в этом определении слово «тайное», иначе многие борцы со стукачами могут оказаться в неудобном положении.

Надо признать, что с понятием доноса в нашей истории творилось что-то странное. Так, например, Ульянов-Ленин употреблял это слово в несколько ином значении – в собрании его сочинений обнаруживаем такие фразы:

«О ходе работ доносите каждые две недели».

«Докладывать каждую неделю губисполкому о результате работы и доносить по понедельникам запиской по прямому проводу на имя дежурного представителя Наркомпрода».

«О принятых мерах и достигнутых результатах Реввоенсоветам фронтов доносить еженедельно по понедельникам НКПС и РВ СР».

Можно ли утверждать, что руководители «на местах» обязаны были строчить еженедельные доносы? Конечно, нет, поскольку речь идёт всего лишь о рапортах, о сообщениях. Но вот один из старых большевиков понял ленинские указания несколько иначе – в 1925 году с трибуны XIV съезде ВКП(б) он заявил:

«Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, т.е. смотреть и доносить. Я не предлагаю ввести у нас ЧК в партии. У нас есть ЦКК, у нас есть ЦК, но я думаю, что каждый член партии должен доносить. Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства».

В принципе, если доносительство понимать в указанном мной выше смысле, то против такого доноса нет и не должно быть возражений. Однако неоднократно цитированный в литературе отрывок из выступления Якова Драбкина, известного в партии под псевдонимом «Сергей Гусев», многие восприняли несколько иначе. Вот и Александр Некрич в своей «Истории Российской империи» написал: «Сто раз прав С. Гусев, напомнив, что доносы стали нормой партийной жизни при Ленине». Припомнились слова из песни Булата Окуджавы:

Каждый пишет, как он слышит,

Каждый слышит, как он дышит...

По мнению Александра Зиновьева «донос становится средством и школой предательства в определенных условиях»:

«Он процветал и в дореволюционной России, в наполеоновской Франции, в гитлеровской Германии. В западной цивилизации он возник вместе с христианством (вспомните Иуду!). В многовековой истории христианства он сыграл роль не менее значительную, чем в кратковременной истории русского коммунизма (вспомните инквизицию, использование исповеди!). В советской истории доносы сыграли роль огромную, а тридцатые годы были годами буйства доносов».

Здесь речь идёт о политических доносах. Темой же этого исследования, как следует из эпиграфа, хотелось бы сделать донос литературный. Тут будет уместно привести отрывок из статьи Николая Добролюбова:

«Признавая за литературу главное значение разъяснения жизненных явлений, мы требуем от нее одного качества, без которого в ней не может быть никаких достоинств, именно – правды. Надо, чтобы факты, из которых исходит автор и которые он представляет нам, были переданы верно. Как скоро этого нет, литературное произведение теряет всякое значение, оно становится даже вредным, потому что служит не к просветлению человеческого сознания, а напротив, еще к большему помрачению».

Проблема в том, что бывают обстоятельства, когда литературу от политики трудно отделить. И вот сиди и мучайся – как квалифицировать ту или иную статью или даже книгу? То ли обоснованная критика, то ли приложение к обвинительному приговору. В последнем случае это уже политический донос. Такой донос пишется по заданию парткома либо по запросу НКВД и КГБ. Бывает, что донос сочиняется из зависти, в намерении насолить удачливому конкуренту, или по своеобразному велению сердца – это уже крик души, когда нет сил терпеть издевательства над идеалами, без которых жизнь теряет всякий смысл.

В качестве примера сообщу о случае, который имел место ещё двести лет назад. Некий поэт, а по совместительству ещё и цензор, оскорблённый отказом Карамзина поместить в «Московском журнале» его стихи, а кроме этого униженный издевательской рецензией на свою книгу одним из авторов этого журнала, сочинил донос, в котором обратил внимание властей на вольнодумство Карамзина, примеры которого он обнаружил в «Письмах русского путешественника». По счастью, у Карамзина нашлись влиятельные покровители.

Второй пример несколько иного рода. Николай Лесков, автор знаменитого «Левши», в молодые годы сотрудничал в «Северной пчеле». Однажды он пересказал в статье появившийся в столице слух, будто серию пожаров, случившихся в Петербурге, могли организовать студенты-террористы, и потребовал от властей подтвердить или опровергнуть эти сведения. Либеральная общественность была возмущена этой статьёй, объявила её доносом и пообещала наказать зарвавшегося журналиста собственными силами. Позже Николай Лесков написал сатирический роман, в котором подверг критике будущих революционеров, как их в то время называли – нигилистов. В персонажах романа некоторые либералы узнали себя. Последствием возникшего вслед за этим публичного выяснения отношений стал призыв Дмитрия Писарева отлучить от русской журналистики «тупоумного ненавистника будущего». Оставим на совести автора это сомнительное обвинение, однако призыв к бойкоту уж никак не сочетается со свободой слова, за которую всегда ратовали либералы.

В отличие от либералов и нигилистов, Фёдор Достоевский придерживался иного мнения по поводу доносов:

«Уверю вас, что у нас никогда и ни на кого не доносили в литературе ни за веру, ни даже за какие-нибудь местно-патриотические чувства. Если же и были когда-нибудь частные случаи, то они до того уединенны и исключительны, что грешно и стыдно возводить их в общее правило: "дескать, привычка эта всё еще нас не оставила". Да и что такое донос или сыск? Есть факты, про которые уж нельзя не говорить».

Если и в самом деле речь идёт о фактах, против их обнародования невозможно возразить. Единственное, что настораживает – это возможные последствия.

Ещё одна проблема состоит в навешивании ярлыков, когда автора критической статьи тут же на всю страну могут объявить доносчиком. Подобные способы бесчестной конкуренции и сведения личных счетов перечислены в «Заметках о правилах и формах литературной борьбы», написанных профессором Киевского университета Николаем Хлебниковым в 1879 году. Он считал, что «писатель, не соблюдающий следующих условий, не может требовать к себе уважения» – среди этих условий под номером восемь было сказано: «если называет [своего оппонента] доносчиком или подкупленным писателем».

Будем иметь это в виду, рассматривая газетные статьи, материалы следственных дел и письма писателей в высшие инстанции.

## Глава 1. Лев Никулин, ОГПУ и Бабель

Советским телезрителям хорошо знаком сериал под названием «Операция "Трест"», рассказывающий об истории поимки известного британского разведчика Сиднея Рэйли. Один из первых советских многосерийных телефильмов был поставлен Сергеем Колосовым по повести Льва Вениаминовича Никулина «Мёртвая зыбь». Отец будущего писателя, провинциальный актёр и антрепренёр Вениамин Иванович Олькеницкий взял себе псевдоним Никулин, дабы не смущать российскую публику своей фамилией. Лев Никулин печатался с 1910 года – писал театральные рецензии, фельетоны, сценки для театра миниатюр «Летучая мышь», сочинял прекрасные стихи, некоторые из них положил на музыку Александр Вертинский. После революции Никулин работал в Политуправлении Балтийского флота, в Генеральном консульстве в Кабуле, а в 30-е годы – в редакции газеты «Правда», участвовал в написании книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931 – 1934 гг.», а в 1940 году был принят в ВКП(б). Словом, вполне приличный послужной список для советского писателя и журналиста, автора нескольких десятков пьес и книг. И вроде бы не с чего подозревать в его биографии некое второе дно, ну разве что повесть «Мёртвая зыбь» он не смог бы написать без помощи товарищей из контрразведки.

Но вот читаю в книге Григория Свирского «На лобном месте» рассказ о Константине Паустовском:

«Однажды он тихо, но так, чтобы окружающие слышали, как бы спросил прозаика Льва Никулина: "Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?"... Константин Паустовский повторял, где только мог, свое присловье о Каине-Никулине. Писатели и верили, и не верили, легко ль обвинить собрата по перу в убийстве? Когда вышла повесть молодого писателя Ю. Бондарева "Тишина", престарелый Лев Никулин тут же отозвался на нее многостраничным доносом в ЦК и КГБ, и это письмо (время было такое, антисталинское!) показали Юрию Бондареву. Тогда уж не осталось никаких сомнений».

Здесь речь идёт о том, что Льва Никулина считали автором доноса на Исаака Бабеля. Ума не приложу, каким образом критическое выступление Никулина против Бондарева может стать доказательством этого мерзкого поступка? Пожалуй, называть письмо доносом, не пояснив, в чём суть претензий Никулина к повести Бондарева – это явный перебор. Судя по всему, Григорий Свирский оказался не в ладах с элементарной логикой.

Гораздо жёстче Свирского писала о Никулине в своих воспоминаниях вдова поэта, Надежда Мандельштам:

«Он не может не сделать в подходящую минуту идеологического доноса. Он натренирован на эту деятельность всей своей жизнью. Благодаря ей он пользовался всеми благами жизни, содержал жену и взрастил двух добродушных дочерей. Эта привычка стала второй натурой и чем-то обязательным и неизбежным, как условный рефлекс. Старику её не преодолеть, даже если б он этого захотел, а у Никулина таких желаний, наверное, и в помине нет».

В отличие от вдовы известного поэта, с Никулиным я не был знаком, поэтому для возражений не имею ни малейших оснований. Более сдержанный подход к этому запутанному делу продемонстрировал драматург Александр Гладков. В 1964 году он записал в своём дневнике:

«В «Москве» воспоминания Л. Никулина о Бабеле. Они не очень интересны, но в них сквозит желание доказать всем, что Бабель его, Льва Никулина, очень любил. А молва твердила и твердит, что он имеет какое-то отношение к его аресту. Может быть, это правда, и поэтому-то он так распинается. Вообще у Никулина стойкая репутация стукача. Слышал я, что именно поэтому он так легко всегда ездил за границу, что исполнял функции информатора за пребы-

вающими за границей нашими писателями... Говорят – дыму без огня не бывает. Когда-нибудь все станет известно...»

«Какое-то отношение», «стойкая репутация», «слышал я» – это меня не убеждает. И так, попробуем разобраться в том, о чём так настойчиво твердит молва. Одним из косвенных доказательств сотрудничества Льва Никулина с ОГПУ-НКВД стали частые поездки за границу. Об этих вояжах упоминает Николай Любимов в книге «Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний»:

«Никулин ухитрился первым из советских писателей побывать за границей (почему-то его посылали с нашей дипломатической миссией в Афганистан): и в Турции, и даже в Испании эпохи Примо де Ривера, куда всем прочим писателям путь был заказан».

Примерно о том же пишет и Михаил Ардов в книге «Вокруг Ордынки»:

«У меня есть все основания полагать, что Лев Никулин, как и весьма многие интеллигенты его поколения, в свое время вполне искренне принял революцию и стал преданно служить советской власти. В 1921 году в составе дипломатической миссии он уехал в Афганистан, где провел полтора года. В дальнейшем его отправляли во Францию, в Испанию, в Турцию, где, надо полагать, он выполнял какие-то поручения “компетентных органов”. И он до самых последних лет своей жизни был, что называется, “выездной”».

Более конкретно на связи Никулина с ОГПУ указал Борис Носик в своих воспоминаниях «С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции». Тут речь идёт о парижских встречах:

«Чаще всего отбирать компанию приходилось по просьбе старого “приятеля из ГПУ” Льва Никулина – то ему нужен был зачем-то троцкист Суварин, то еще кто-нибудь... Суварин приходил, хотя уже догадывался, кто он такой, этот снова приехавший в Париж Никулин, но и Суварину хотелось повидаться с ненадежным москвичом: любопытно ему было, хотя и страшновато (или как говорили актеры, “волнительно”). Позднее Суварин сообщал в своих записках: “мы, вполне естественно, интересовались новостями о наших общих знакомых. Как же не спросить и про Бабеля? Нам было безразлично, сдавал ли Никулин по возвращении отчеты о наших встречах, – нам нечего было скрывать, но и он ничего интересного нам рассказать не мог”».

Как видим, никто из авторов приведенных мной цитат не в состоянии сообщить ничего, кроме подозрений. Поэтому придётся разбираться самому. Для этого отправимся не в Одессу, где вместе с Исааком Бабелем учился Лев Никулин, урождённый Олькеницкий, а совершенно в другом направлении – в Литву. Там в городе Эйшишкес проживал когда-то Олькеницкий Пинхос Лейбович, мещанин. Его сын, Вульф Пинхосович, в поисках лучшей доли отправился на Украину, жил в Житомире, а позже перебрался в Петербург, где со временем стал управляющим аптекой Бергольца на Гороховой. Вслед за ним в столицу перебралась его многочисленная литовская родня – кто-то устроился помощником аптекаря, другие получили профессию дантиста. Кстати, жена Вульфа Пинхосовича, Сара Хаймовна, тоже была зубным врачом. Помощником аптекаря служил и Шмуль Захарович Олькеницкий. Профессию, связанную с медициной, выбрал и его сын Гирш. Вот что писал о нём Евгений Сухов в книге «Медвежатник фарта не упустит»:

«Гирше было почти двадцать пять, и отсрочку от мобилизации он получил вначале в Бехтеревском институте в Петербурге, а от фронта отлынивал уже в Казани, пребывая в университете».

Это было в 1916 году. Вскоре Гирш был арестован за революционную деятельность, выслан в Чистополь, а в следующем году уже участвовал в организации восстания в Казани. Затем его избрали в ревком, он стал секретарём военно-революционного штаба, после этого был назначен комиссаром банка. В начале 1918 года Гирш Олькеницкий возглавил губернскую ЧК. Читаем в книге Сухова:

«В его личный кабинет председателя Губернской Чрезвычайной комиссии, занимавшей особняк на Гоголевской улице, то и дело заходили люди в кожанках с «расстрельными» бумагами, которые Олькеницкий подписывал, не особо вдаваясь в содержание».

А в июне 1918 года Гирш Олькеницкий был убит бандитами.

Теперь возвратимся к рассказу о его дядюшке, двоюродном или троюродном, это не столь важно. После 1910 года престарелый Вульф Пинхосович стал неожиданно Владимиром Петровичем. А в это время его сын Вениамин – ещё в молодые годы, после развода родителей, он вместе с матерью переехал в Одессу – мотался по России, ставил спектакли, одно время даже был директором Воронежского зимнего драматического театра. Для театральной сцены его фамилия не очень подходила, поэтому и придумал себе псевдоним – Вениамин Иванович Никулин. Уже после революции он оказался в Москве, был членом Российского театрального общества, работал в студии с весьма замысловатым названием «Губрабис» – видимо, происхождением оно обязано «губернскому рабочему искусству».

Не стоит удивляться тому, что Лев Никулин, родственник заслуженного чекиста, погибшего от руки врагов, оказался достоин доверия товарищей из ОГПУ. Гирша Олькеницкого помнили в Москве, куда он приезжал с планом разгрома контрреволюционного подполья в Казанской губернии. Несомненно и то, что Лев Вениаминович не брезговал общением с родней, пока работал в Ленинграде – родственные и национальные связи всегда позитивно сказываются на карьере. Вот и Никулину повезло. Если бы не обвинение в том, что засадил своего друга Бабеля в тюрьму, можно было бы считать, что жизнь Льву Вениаминовичу удалась.

Надо признать, что в деле Бабеля до сих пор нет ясности. Среди тех, кого обвиняли в его гибели, был и Семён Будённый, которому очень не понравилось, как Бабель написал о Первой конной армии. Будущий маршал ответил на книгу писателя статьёй под названием «Бабизм Бабеля из "Красной нови"»:

«Под громким, явно спекулятивным названием "Из книги Конармия" незадачливый автор попытался изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на польском и других фронтах... Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье... выдумывает небывлицы, обликает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет».

От гнева главного кавалериста страны Бабеля спас Максим Горький, который считал его «понимающим людей и умнейшим из наших литераторов».

В 60-е годы записали в палачи Бабеля литературоведа Якова Эльсберга, о котором речь пойдёт в одной из следующих глав. Что же касается сотрудничества Льва Никулина с ОГПУ, то он наверняка писал отчёты о встречах за границей, докладывая о настроениях в эмигрантской среде. Не исключено, что выполнял ещё какие-то задания. Однако подтверждений выдвинутому против него обвинению я так и не нашёл.

В своих воспоминаниях Никулин очень тепло писал об Исааке Бабеле. Они встречались в Париже, регулярно переписывались. Их дружеские отношения подтверждает такой фрагмент из письма Бабеля:

«Дорогой Л. В. Не могу сказать, как обрадовала меня ваша открытка, как я рад за вас, всем сердцем... В начале лета я буду в Москве, в марте – хочу поехать в Италию. Не прихватить ли мне Турцию и вернуться через Константинополь? Не входит ли Италия в ваш маршрут? Ответьте мне. Напишите о делах российских. Читали соборно фельетон ваш о Пильняке – помирали со смеху...»

А вот какими словами завершает свои воспоминания о друге Лев Никулин:

«Бабель исчез из нашей среды, как исчезли другие наши товарищи, но все же он оставил неизгладимый, я бы сказал, ослепительный след в нашей литературе. Не по своей вине он не допел свою песнь».

Трудно поверить, что это писал человек, погубивший близкого человека, с которым был знаком с юных лет.

Тут самое время обратиться к документам. Сначала приведу выдержку из сводки НКВД от сентября 1936 года, в которой сообщается о настроениях Исаака Бабеля в связи с завершением в августе того же года процесса по делу так называемого «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»:

«Источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзенштейна... Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил: "Вы не представляете себе и не даёте себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории. Это страшное дело... А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются. Троцкий, бесспорно, будет продолжать борьбу и его многие поддержат... Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского – самый блестящий знаток русского языка и литературы. Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений"».

Понятно, что фамилии своих информаторов НКВД тщательно скрывал. Узнать имя доносчика помог бы Эйзенштейн, однако к тому времени, когда стали доступны некоторые материалы из архивов КГБ, прославленного кинорежиссёра уже не было в живых. Единственный ориентир – это город Одесса, откуда родом и Бабель, и Эльсберг, и Никулин.

В своих воспоминаниях о Бабеле его гражданская жена Антонина Пирожкова так описывала это время:

«Работа Бабеля с Эйзенштейном над картиной "Бежин луг" началась еще зимой 1935-36 гг. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля».

Там же она упоминает и фамилию оператора фильма:

«Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены – Марианны Аркадьевны».

Итак, из материалов НКВД следует, что в разговоре участвовали трое. Скорее всего, беседовали в основном о съёмках фильма «Бежин луг». Однако с кем мог обсуждать Бабель чисто киношные проблемы – только с режиссёром и оператором фильма. Тогда следует предположить, что информатором НКВД был Эдуард Тиссэ. С Бабелем он познакомился ещё в 1925 году, когда работал оператором на съёмках фильма «Еврейское счастье», одним из сценаристов которого был Бабель. Маловероятно, что участником этой одесской встречи был Никулин – он предпочёл бы обсуждать столь опасную тему наедине со своим закадычным другом. Ну а слова из упомянутой сводки «источник, будучи в Одессе» следует отнести на счёт желаний НКВД таким путём отвести подозрения от информатора, если документ когда-нибудь попадёт в чужие руки – это считалось обычным делом для спецслужб.

Вполне возможно, что Тиссэ общался с некоторыми чекистами – в их рядах было немало латышей. Кто-то из них мог привлечь к сотрудничеству с ОГПУ-НКВД бывшего начштаба экспедиционного партизанского отряда – в этой должности Тиссэ служил в 1918 году на Восточном фронте. Что же касается Эльсберга, то по признанию жены Бабеля он появился в их доме всего за год до ареста её мужа. К этому времени материалов на писателя было собрано уже достаточно, не хватало только последнего штриха.

Скорее всего, в 1936 году Бабеля спасло его знакомство с главой НКВД Ежовым, да и время для массовых репрессий ещё не пришло. О близости писателя к Ежову упоминает Виталий Шенталинский в книге «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ»:

«Что тянуло Бабеля в дом Ежова, куда он летел, как бабочка на огонь? Прежде всего профессиональный интерес писателя. Известно, что он долгое время работал над книгой о ЧК... Ходили даже слухи, что его "роман о ЧК" был отпечатан в нескольких экземплярах для

Сталина и членов Политбюро и не получил одобрения... Илья Эренбург пишет в своих мемуарах, что его друг понимал всю опасность этих визитов, но хотел, как сам говорил, "разгадать загадку". Однажды он сказал Эренбургу: "Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем"».

Заметим, что близость Бабеля к чекистам была совсем иного рода – не то, что у Никулина. Он что-то выспрашивал, выведывал, желая разобраться в тонкостях работы карательного органа. Это могло вызвать дополнительные подозрения.

Тем временем, в НКВД накапливали материалы на писателя, ожидая, когда Сталин даст разрешение на его арест. В материалах НКВД о Бабеле есть и такая запись, сделанная летом 1939 года:

«В 1934 году следствием по делу троцкиста-террориста Дмитрия Гаевского было установлено, что Бабель является участником право-троцкистской организации».

Однако этот Гаевский не та фигура, чтобы на его признания строить обвинение. Нужен был более авторитетный человек. И вот в марте 1939 года следователи наконец-то добились нужных слов от Моисея Фридлянда, известного читателям под псевдонимом Михаил Кольцов, – он был арестован ещё в декабре 1938 года. Это и был тот самый недостающий штрих в деле Исаака Бабеля:

«С Пастернаком и Бабелем, равно как и с Эренбургом, у Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР. "Только они говорят правду, все прочие подкуплены"... Связь Жида с Пастернаком и Бабелем не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 г.»

Надо сказать, что этого «писаку» Сталин с удовольствием бы засадил в тюрьму, да руки оказались коротки. Анри Барбюс и Лион Фейхтвангер, Бернард Шоу и Ромен Роллан – все побывавшие в СССР зарубежные писатели воспевали небывалые успехи советской власти под руководством Сталина. И только Андре Жид, с симпатией относившийся к социалистической идее, позволил себе выразить недовольство тем, что творилось в стране, написав в 1935 году книгу «Возвращение из СССР». Поэтому все, «запятнавшие» себя знакомством с ним, автоматически становились объектом пристального внимания НКВД.

В мае 1939 года Бабель был арестован на даче в Переделкино по обвинению в «анти-советской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. По версии Ильи Эренбурга именно знакомство с Ежовым сыграло трагическую роль в судьбе писателя – он был арестован через месяц после ареста бывшего наркома.

Должен признаться, что, когда ещё собирал материал для этой книги, был уверен, что одним из самых отвратительных её персонажей станет Лев Никулин – уж очень нелицеприятно отзывались о нём современники. Но вот оказалось, что и обвинять-то его, по большому счёту, не в чем.

## Глава 2. Признания Михаила Кольцова

В Советском Союзе его называли Михаил Кольцов, в Испании – Мигель Мартинес. Кем же он был на самом деле? Девятнадцатилетним юношей писал для петроградских журналов статьи, в которых приветствовал создание Временного правительства, восторгался Керенским и критиковал действия большевиков. В начале 1918 года Кольцов уже печатается в большевистских газетах, затем становится заведующим отделом хроники Всероссийского кинокомитета Наркомпроса, получает рекомендацию для вступления в партию от Луначарского и отбывает в командировку «для производства фотографической и кинематографической съемки с русско-украинской мирной конференции в гор. Смоленске». О возвращении в голодный Петроград не может быть и речи, а тут рядом Киев, где ждёт его семья. Кольцов печатается в местных газетах, поругивает большевиков за излишнюю жестокость, но к Троцкому у него двойственное отношение. С одной стороны, пеняет ему за то, что не дал народу обещанную землю и хлеб. С другой стороны, не может сдержать своего восхищения одним из вождей большевистской революции:

«Когда Троцкий говорит, это вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Это Анатома [проклятый негодяй], пришедший мириться с людьми. Что он им, умный, отважно-находчивый еврей, этим славянам, неожиданно сырым, лесным, скифам?»

В начале января 1919 года Кольцов в очередном очерке призывает несчастья на головы большевиков:

«Скорей, скорей! Пусть угаснет и эта улыбка, пусть рухнут руины семи старых Петербургов, похоронят под собой нынешних своих властителей и пусть на обломках встанет новый громкий и пестрый город с новой человеческой борьбой, новой суетой, побежденными и победителями».

Но так случилось, что через месяц в город вошли части Красной армии. Когда же в августе город перешёл под контроль войск Деникина, Кольцова в городе уже не было. Видимо, насмотревшись на действия немецких оккупантов, потом ужаснувшись при виде зверств, творимых сечевиками атамана Петлюры, Кольцов выбрал наименьшее из зол и снова поступил на службу к большевикам. А вот Михаил Булгаков, до прихода красных тоже находившийся в Киеве, предпочёл уйти на восток вместе с армией Деникина. Однако не известно, кому из них больше повезло. Согласно справке НКВД, Михаил Кольцов был расстрелян в феврале 1940 года, а через месяц не стало и Булгакова. Есть основания полагать, что в этом ему «помогли» всё те же органы НКВД. В книге «Дом Маргариты» я писал, что симптомы его якобы наследственного заболевания уж очень напоминают те, что бывают после отравления мышьяком.

В сентябре 1919 года Кольцов назначается временно исполняющим должность редактора газеты, органа политуправления 12-й армии, затем его принимают в партию большевиков, а летом следующего года он уже работает в Москве, сотрудничая с большевистской прессой. С той поры и начинается его восхождение к вершинам славы. Очерки и фельетоны один за другим выходили из-под его пера. С 1922 года напористый и плодовитый журналист становится штатным сотрудником газеты «Правда». Но этого Кольцову показалось мало, и через год он создает новый журнал, хорошо знакомый советским читателям – «Огонёк». Как вспоминал его брат, художник-карикатурист Борис Ефимов, «в журнале охотно приняли участие наиболее интересные авторы того времени: Катаев, Ильф, Петров, Зоценко, Мандельштам, Эренбург, Бабель и многие, многие другие».

В конце 1928 года Кольцов реализует новую свою идею – сатирический журнал «Чудак». Однако журнал просуществовал совсем недолго. Осенью следующего года выходит постановление Секретариата ЦК ВКП (б) «О журнале «Чудак»:

«За допущение напечатания в журнале "Чудак" материалов под заголовком "Семейный альбом, Ленинградская карусель" явно антисоветского характера, снять редактора журнала т. Кольцова, объявив ему выговор со строгим предупреждением... Поручить ОГПУ в срочном порядке расследовать вопрос о помещении этих материалов в журнале "Чудак" и принять меры к изъятию № 36 этого журнала».

Причина негодования товарищей из ЦК заключалась в том, что в журнале были высмеяны несколько партработников, которые перекладывали ответственность за решение по жалобе некоего гражданина друг на друга, в результате чего гражданин вынужден был ходить по кругу без какой-либо надежды на успех. Понятно, что после этой взбучки у Кольцова опустились руки. Вот что он написал Максиму Горькому, который поддерживал Кольцова во многих начинаниях:

«Живу я сейчас серо и невыразительно, как черви слепые живут. Только изредка вынимаю из шкафа подаренные Вами пояса и вздыхаю, с шумом выпуская воздух из грудной клетки. Этим я хочу сказать, что скучаю по Вас. По-видимому, это кончится большим слезливым письмом, с жалобой на нечуткость людей и просьбой указать, как поступить на зубоврачебные курсы».

Горький постарался поддержать талантливого журналиста, которому он симпатизировал:

«В самом деле: Вы что там раскисли? Бьют? И впредь – будут! К этому привыкнуть пора Вам, дорогой мой! Крепко жму руку и – да пишет она ежедневно и неустанно словеса правды!»

Надо признать, что в истории с «Чудаком» Кольцову всё же повезло, хотя как знать, что было бы, не прояви он вовремя личную инициативу. По совету Ворошилова, которому он тоже пожаловался на своё житьё-бытьё, Кольцов написал покаянное письмо в ЦК, и выговор с него в итоге сняли. Увы, журнал отстоять не удалось – «Чудак» был поглощён всем известным «Крокодилом».

А вот как Михаил Кольцов отблагодарил Горького за внимание и поддержку, выступая на первом съезде советских писателей в 1934 году:

«Я слышал, что в связи с тем, что Алексей Максимович открыл пять вакансий для гениальных и сорок пять для очень талантливых писателей, уже началась дележка. Кое-кто осторожно спрашивает: а как и где забронировать местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти? Говорят, появился даже чей-то проектец: ввести форму для членов писательского союза... Писатели будут носить форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант – для прозы, синий – для поэзии, а черный – для критиков. И значки ввести: для прозы – чернильницу, для поэзии – лиру, а для критики небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во фронт...»

Не знаю, понравилась ли Горькому эта шутка, однако выступление Кольцова против излишнего формализма в деятельности писательского союза наверняка противоречило мнению ЦК. Но до поры до времени автору почти полутора тысяч фельетонов прощали и такие шуточки.

Особую роль в судьбе Михаила Кольцова сыграла его командировка в Испанию. Мигель Мартинес, главный политический советник при республиканских властях, стал свидетелем важнейших военных и политических событий. Отчётом об этой поездке, помимо регулярно публикуемых очерков в газете «Правда», стал «Испанский дневник».

В ноябре 1937 года Кольцова отзывают из Испании. Его избирают депутатом Верховного Совета РСФСР и членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Он продолжает работать в «Правде», фактически исполняя роль главного редактора вместо занятого другой работой Мехлиса. И вот восьмого марта 1938 года «Правда» публикует статью, в которой глава НКВД Николай Ежов назван «чудесным негнибачимым большевиком». В принципе, тут нет ничего особенного – партийная газета просто обязана время от времени расхваливать людей, руководящих государством. По версии, изложенной в книге Виктора Фрадкина, племянника Кольцова,

статью о Ежове написал сам Лев Мехлис, но предложил доработать её и подписать Кольцову, аргументируя свою просьбу тем, что так «статья прозвучит более убедительно». При этом он сослался на мнение самого вождя. Можно предположить, что это была «подстава» Сталина – ведь уже через месяц после этой злополучной статьи Ежова назначили наркомом водного транспорта по совместительству, что могло означать скорое увольнение из органов НКВД. Впрочем, серьёзных доказательств этой версии как не было, так и нет. Не исключено, что статья была личной инициативой Михаила Кольцова – ведь он и раньше имел неосторожность торговаться талантом Керенского, потом восхищался Троцким. Ещё в одном из первых номеров «Огонька» он публикует очерк Якова Блюмкина «День Троцкого», и более того – планирует фоторепортаж об отдыхе Троцкого в Сухуми. На эту инициативу Сталин ответил замечанием: «Вы скоро будете печатать, по каким клозетам ходит товарищ Троцкий». Надо отметить, что с инициативами Кольцову частенько не везло – закрыли его «Чудака», потерпел катастрофу и гигантский самолёт «Максим Горький», построенный на народные деньги по предложению Кольцова.

Но самое большое разочарование ожидало Кольцова в декабре 1938 года – его арестовали. На первых допросах все обвинения в преступной деятельности он отрицал. А дальше Кольцова словно прорвало – он признался в работе на зарубежную разведку и стал выдавать своих пособников. Александр Фадеев, которому Сталин предложил ознакомиться с протоколами допросов, был поражён количеством содержащихся в них фамилий – по его подсчётам Кольцов оговорил семьдесят человек. На самом деле их было более восьмидесяти, советских граждан и иностранцев, – в этом можно убедиться, прочитав книгу Фрадкина. В книге высказано предположение, что Кольцов дал показания под пытками, однако такое количество имён невозможно этим объяснить. Поэтому у Фрадкина возникла следующая версия:

«Он старается побольше оговорить знакомых ему людей и прежде всего самого себя. Видимо, он надеялся таким образом "переиграть" следствие, давая совершенно абсурдные и легко опровергаемые, на его взгляд, сведения. Он до конца надеялся, что на предстоящем процессе сможет убедительно доказать свою невиновность. В этом состояло его трагическое заблуждение».

На мой взгляд, единственное объяснение этим оговорам состоит в том, что Кольцов надеялся затянуть следствие по своему делу. Проверка показаний почти на сотню человек, очные ставки и другие процессуальные действия – всё это могло бы продолжаться много месяцев. А там либо вождь помрёт, либо ещё что-нибудь изменится. В какой-то степени избранный Кольцовым метод был вполне логичен – после назначения Берии на должность руководителя НКВД с некоторых людей, арестованных при прежнем руководстве, были сняты все обвинения. Однако расчёт на затягивание следствия не оправдался – это вам не нынешние времена, когда следствие продолжается годами.

Признания Кольцова стали основным поводом для обвинения многих людей в антисоветской деятельности – в частности, Бабеля и Мейерхольда. С нравственной точки зрения все эти многочисленные оговоры невозможно оправдать. Понятно, что любой человек, оказавшись в подобных обстоятельствах, будет искать способы облегчить собственную участь, однако нельзя спасать себя, ставя под удар или даже обрекая на смерть несколько десятков ни в чём не повинных, добропорядочных людей. Ну а надежда на то, что в судебном заседании все свои показания, данные на следствии, можно будет опровергнуть – это не более чем самообман, в чём не раз убеждались обвиняемые на «сталинских» процессах. Не могу поверить и в то, что список из восьмидесяти фамилий был предложен Кольцову следователями – это был бы уже явный перебор. Хотя не исключено, что кое-кто из следователей перестарался, желая обеспечить себе успешную карьеру. Такие же обличительные показания удалось получить и от Всеволода Мейерхольда. Однако Кольцов общался со многими людьми, занимавшими очень важные посты, и в этом смысле мог стать кладзем компрометирующей информации.

И всё же непонятно, зачем выбивать из подследственного показания, если суд всё равно несправедливый, а показания проще было бы подделать? По логике палачей, можно было сразу расстрелять, а уж потом оформить всё как следует. Скорее всего, соблюдать видимость законности их заставляла трагическая судьба Ягоды и его подручных.

Однако пора бы заняться выяснением причин, по которым так резко прервалась карьера самого популярного журналиста Советского Союза. Вот мнение Виктора Фрадкина:

«Читая «признания» Кольцова, можно сделать вывод, какие же именно факты из многогранной деятельности Кольцова стали причиной его ареста, а точнее, за что Сталин казнил Кольцова. Перечислим "претензии" к Кольцову. Первая – публикация в журнале "Огонек" литературных и фотографических материалов о Троцком и других деятелях правительства и компартии, позднее ставших "врагами народа". Вторая – публикация в "Правде" острых, критических фельетонов и очерков, разоблачавших всевозможные безобразные явления советского быта. Третья – провал, с точки зрения Сталина, парижского Международного конгресса писателей в 1935 году. Четвертая – визит в СССР французского писателя Андре Жида и, как результат этого визита, – книга впечатлений о его поездке. Пятая – поражение сторонников республики в Испании, где Кольцов играл видную роль в республиканском руководстве».

Здесь всё смешалось в одну кучу – досадные промахи, малозначительные обстоятельства, и даже события, предотвратить которые Кольцов просто был не в состоянии – к последним относятся и поражение республиканцев в Испании, и публикация книги Андре Жида. Впрочем, у Ежова и Берии было другое мнение по поводу этой книги, о чём они и сообщили Сталину незадолго до ареста Кольцова:

«В агентурном сообщении от 20 марта 1938 года по этому вопросу сообщается: "Во время пребывания в СССР А. Жида к нему был прикреплен М. Кольцов, который вместе со своей женой М. Остен ездил с А. Жидом почти по всему Союзу. Наблюдая за А. Жидом во время нахождения его в СССР, я видел, с каким восхищением и восторгом А. Жид отзывался о СССР. И вдруг по возвращении во Францию Жид пишет ряд книг в антисоветском духе. Не обрабатывали ли тогда М. Остен и Кольцов А. Жида в таком духе, что он, приехав во Францию, написал антисоветскую книгу "Возвращение из СССР"?"»

Иную версию ареста изложил историк Вадим Роговин: «По-видимому, арест Кольцова, действовавшего в Испании в качестве сталинского эмиссара, объяснялся тем, что он слишком много знал о преступлениях, чинимых там сталинской агентурой».

Помимо освещения событий на фронтах, Кольцов был занят идеологическим обоснованием борьбы с троцкистским влиянием в Испании, в частности, с Рабочей партией марксистского единства (ПОУМ), в рядах которой сражался и писатель Джордж Оруэлл, один из героев этой книги. Однако вряд ли Кольцов был посвящён в тайные дела советской агентуры, направленные на уничтожение ПОУМ. Ему хватало собственных забот – он занят был сочинением обличительных статей для газеты «Правда»:

«Куда бы ни протянулась гнусная рука Троцкого, она сеет ложь, предательства и убийства... Всё тёмное, зловещее, преступное, все подонки, вся мразь людская слетается на его зов для гнусных разбойничьих дел».

Тем не менее, решающее обвинение против Кольцова связано именно с событиями в Испании. В докладной записке Сталину руководитель интербригад Андре Марти писал:

«Мне уже приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самолично узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, его спекуляция своим положением как представителя Москвы безусловно наносят вред общему делу и сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьёзные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро (который не является коммунистом) вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. По поступившим сведениям, происходили беседы с руководителями ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер.

2. Так называемая "гражданская жена" Кольцова Мария Остен (Грессгенер) замечена в компрометирующих связях с деятелями правого толка. И у меня лично нет никаких сомнений, что она является засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве – следствие ее шпионской деятельности...»

Не исключено, что на судьбу Бабеля и Кольцова повлияло и близкое знакомство с семьёй Ежова в то время, когда тот ещё властвовал в НКВД. Кроме того, на Кольцова поступало множество доносов, даже от женщин, которым он не уделял должного внимания. Роговин в своей книге ссылается на такие данные из сводки НКВД:

«В начале 1937 года секретные агенты Коминтерна сообщали, что некий Рудольф Зелке, вышедший из КПГ в 1928 году и "выступающий как яростный враг советской власти и Коммунистического Интернационала", получил пост в министерстве пропаганды провинции Валенсия "благодаря посредничеству тов. Кольцова».

Однако всё это не могло быть основной причиной для ареста.

По мнению Виктора Фрадкина, готовился «процесс-монстр» против деятелей культуры. Поэтому Кольцова принуждали оговаривать множество людей, поэтому арестовали Бабеля и Мейерхольда, от которых требовали показаний против их коллег. Вот как Фрадкин пытается объяснить причины этой акции:

«Невольно возникает вопрос, почему же арестовали именно Бабеля и Мейерхольда, а не кого-нибудь других? Ответить на этот вопрос довольно просто. Они и их творчество были абсолютно чужды товарищу Сталину. Он не понимал, да и не мог понять новаторских постановок Мейерхольда. А то, что непонятно товарищу Сталину и что он не приемлет, – вредно для советского народа».

Если и в самом деле готовился грандиозный процесс, какая разница – нравились Сталину произведения будущей жертвы или же не нравились? Не могу поверить, что Сталин одобрительно относился к «Зависти» Юрия Олеши. Вряд ли и сатира Михаила Зощенко была ему по душе. И неужели Сталин был в восторге от стихов Марины Цветаевой или Бориса Пастернака?

Иную версию причин массовых репрессий выдвинул Виталий Шенталинский:

«Интеллигенция – мыслящая часть общества. Старую мыслящую часть нужно было уничтожить, чтобы завладеть умами. Но репрессировали и вполне коммунистических писателей. Почему Сталину надо было убивать "журналиста номер один" Михаила Кольцова, он же был ярый сталинист! Потому что требовался тотальный страх, патологический».

Убивать своего преданного сторонника только для того, чтобы держать в узде всех остальных – это против логики. Рядом со Сталиным находилось множество бездарных людей, которых он мог время от времени отстреливать в назидание другим. Однако ни один тиран не стал бы уничтожать послушных, не имеющих собственного мнения соратников.

Вот и «Еврейская газета» в статье, посвящённой журналу «Огонёк», лишь констатирует факт гибели «ярого сталиниста», никак это событие не объясняя: «В советское время одним из первых его редакторов был знаменитый журналист Михаил Кольцов, расстрелянный в конце 30-х по сталинскому приказу, несмотря на безупречную лояльность власти».

С этим утверждением о безупречной лояльности Кольцова вроде бы вполне согласуется эпизод, связанный с «бухаринским» процессом 1938 года. Вот как описывает его Роговин:

«Писатель Авдеенко, работавший в то время в "Правде", вспоминал, что после его обращения к Кольцову с просьбой получить пропуск на процесс, Кольцов посмотрел на него «какой-то странной тревогой» и доверительно сказал:

– Зря ты туда рвешься. Не ходи!.. Там такое творится – уму непостижимо. Все говорят одно: Военная коллегия, государственный обвинитель, защита, свидетели и сами подсудимые. Странный процесс. Очень странный. Я сбежал оттуда. Не могу прийти в себя от того, что увидел и услышал.

Авдеенко рассказывал, что эти слова Кольцова он слушал "удивлённо, с нарастающим возмущением, хотя всегда доверял ему всей душой". Впрочем, на следующий день в "Правде" появилась статья "сбежавшего" с процесса Кольцова под названием "Свора кровавых собак"».

С одной стороны, такой статьёй Кольцов формально подтвердил свою лояльность. С другой, если Авдеенко не изменила память, следует подыскать более подходящие слова для описания отношения Кольцова к власти. Ужаснуться чудовищностью происходящего, а затем на газетной полосе выражать по этому поводу восторг, или хотя бы одобрение... Не зря даже в наше время нередко говорят о продажности пишущей прессы, имея в виду принцип «спрос рождает предложение». В полной мере это справедливо и для описанного случая.

Однако если Михаил Кольцов, что называется, наглядно демонстрировал свою преданность партии большевиков и Сталину, какие могут быть к нему претензии? И почему вождь раскрутил это колесо репрессий? На мой взгляд, аресты близких к власти или влиятельных людей имеют одно единственное объяснение. Посмотрим, как всё тот же Виктор Фрадкин называет одну из причин ареста Исаака Бабеля:

«Наверняка Сталину, имевшему "уши" везде, докладывали и о беседах Бабеля, а тот имел неосторожность иногда высказываться откровенно. Вот пример. Бабель, находясь в Париже, на вопрос Суварина, известного в свое время французского журналиста: "Есть ли возможности каких-либо изменений в Советском Союзе?", ответил: "Война"».

Подобные разговоры, о которых руководители НКВД докладывали Сталину, наверняка приводили его в бешенство. Сначала Тухачевский со своими «заговорщиками», теперь ещё Бабель, Мейерхольд, Пильняк... Всем этим людям Сталин в той или иной мере доверял, ни в коем случае не считая их врагами своей власти. И вдруг выясняется, что он в них жестоко ошибался, что за его спиной они высказывали сомнения в правильности того, что вождь делает в своей стране. А это уже покушение на устои! Подобного инакомыслия он не прощал и выжигал его калёным железом. Поэтому среди пострадавших от репрессий было так много членов большевистской партии.

Пришло время, когда Сталин разочаровался и в Кольцове. Талантливый журналист, однако не более чем приспособленец, наёмный работник, не оценивший доброту хозяина и потому так рано ушедший в небытие.

### Глава 3. Опасные игры Пильняка

Бернгард Вогау по материнской линии был родом из купцов, выходцев из города Вогау, что находится в Тюрингии. В прежние века еврейские переселенцы из Германии и Польши брали себе фамилии по названиям всей страны или городов, где прежде проживали – так появились Германы, Тиктины и многие другие. Московские Вогау даже удостоились дворянского звания за свой вклад в развитие промышленности России.

Сын купца тоже намеревался стать коммерсантом, даже успел закончить экономическое отделение Московского коммерческого института. Но то ли революция вынудила переменить профессию, поскольку коммерция утратила прежнюю свою привлекательность, то ли появилось неудержимое желание писать. Ещё в 1911 году, за два года до поступления в институт, он сделал следующую запись в дневнике:

«Хочется начать в этом году выступать на литературном поприще – пора уж! Выйдет ли из меня писатель? Дай-то бог!.. Что ж дал мне – десятый год? Много работал, много прочел, в этом году была напечатана моя одна вещь... Стало понятно все окружающее, и это все – скучно... разочаровался...»

Сомневаюсь, что семнадцатилетнему юноше стало всё понятно, ну а разочарование вполне естественно для такого возраста, когда нередко случаются любовные неудачи. Скорее всего, именно желание добиться популярности среди читающей публики, обратить на себя внимание милых дам стало определяющим в его увлечении литературой.

С 1915 года, когда в журналах появились первые его рассказы, он стал называть себя Борисом Пильняком – прежние имя и фамилия для русской литературы не очень подходили. Об этом и пишет в дневнике: «Между прочим, теперь я не Бор. Вогау, а – Бор. Пильняк».

В 1917 году наконец-то в личной жизни Вогау-Пильняка происходит долгожданное событие, женитьба, о чём он спешит сообщить своим родным:

«Дорогие мои мамынька, папынька и Нина! 30-го числа было, в страшную грозу, с громом и градом, на погосте Старки, что около Черкизова, мое венчание, после которого Марийка стала Вогау, но не Соколовой...»

В Европе идёт кровавая, страшная война. В Петербурге, по сути, двоевластие, как раз в эти дни большевики предприняли попытку свергнуть Временное правительство. Ну а Борису совсем не до того – к счастью, на войну он не попал из-за плохого зрения. В январе 1918 года он пишет Алексею Чернышёву, в недавнем прошлом редактору журнала для начинающих писателей, где Пильняку удалось напечатать первые рассказы:

«В Коломне у нас – голодные будни. Я местными большевиками зачислен в "контрреволюцию" и новый год встречал – в тюрьме, был арестован, и по поводу меня поднимался даже вопрос – не расстрелять ли?».

На этот раз повезло, и Пильняк продолжает писать рассказы, заводит знакомства с писателями, а с наступлением дачного сезона помогает им подыскать комнату в окрестностях Коломны. Как ни странно, он всё ещё надеется, что коммерческое образование может пригодиться и усердно готовится к экзаменам. Впрочем, ничто человеческое и ему не чуждо, о чём он пишет своему приятелю:

«Ездил в имение к товарищу, пил коньяк и играл в шахматы... спорил о черте и литературе, курил и ходил гулять в компании с дамами "ах, не тронь меня!"... В воскресенье, кажется (вместо 2-го мая), буду справлять именины, приедут гости из Москвы».

А в это время в Москве и Петрограде ЧК разоружает анархистов, отряд полковника Дроздовского уже выбил большевиков из Новочеркасска, восставшие казаки под руководством генерала Краснова заняли Ростов-на-Дону, совсем недолго осталось до мятежа левых эсэров и

кровавой резни в Рыбинске и Ярославле. Похоже, Пильняку нет до всего этого никакого дела. Вот чем он занимался весной 1919 года:

«В феврале ездил за хлебом мешочником в Кустаревку, Тамбовской губ. В мае ездил за хлебом в Казань и удирал оттуда на крыше поезда от чехословаков. Муки, все же, привез на полгода. Летом состоял членом коммуны анархистов в Песках, пока анархисты не перестрелялись. Летом впервые начал писать о революции. Осенью ездил "полторапудником" за хлебом в Пензенскую губ. Муку получил в комбеде. Зимой и осенью 18-19 гг. в Коломне прожил, к экзаменам читал, писал рассказы, нигде не служил, пил рыбий жир».

Пока Пильняк пытался что-то сочинять о революции, ничего в ней не понимая, его будущий коллега Андрей Платонов писал фронтовые очерки для местной воронежской газеты, затем работал помощником машиниста на воинских эшелонах, служил в железнодорожном отряде рядовым стрелком.

Настал 1920 год, а Пильняк всё ещё мается в Коломне:

«Прошла целая зима, а я все треплюсь... В Коломне сыпной тиф, мы живем на вулкане. Продовольствие гнуснеет. Нет керосина. Читаю поэтому Тургенева, – плохой писатель».

Отношение к Тургеневу – это личное дело Пильняка. Не исключено, что неприязнь могла стать следствием отсутствия керосина или появилась по ещё какой-нибудь уважительной причине. Однако настроение писателя переменчиво, и вот уже он пишет Брюсову:

«Я – молод, здоров, силен и вынослив, и, если бы я был против Республики, я плавал бы сейчас по Черному морю: – это основа моего отношения к Республике и моих ощущений. Мне никто не имеет права сказать, что он больше меня любит и понимает Россию. Революция – благословенна. Но – то мещанство, глупость, довольство, четверть фунта хлеба около красного стяга (все то же мещанство) – табак не по моему носу. Меня возмущает лакейство этих дней».

И в этих строках всё больше о себе родимом – «мои ощущения», «моё отношение», «мне никто не имеет права сказать», не говоря уже о «табаке не по моему носу».

Только в апреле следующего года Пильняк покидает опостылевшую Коломну и направляется в Петроград. Самое главное для начинающего писателя – найти себе влиятельных покровителей в столице. Борису Пильняку это удаётся – он знакомится с Горьким и Луначарским, но особенно близкие отношения установились у него с редактором журнала «Красная новь», старым большевиком Воронским. Всё больше рассказов Пильняка печатают в журнале, и даже в «Правде» появляется хвалебная статья, о чём он и сообщает своему приятелю: «3/4 моих вещей не могут (!) выйти в России, а в "Правде" меня... хвалят!» Как эти «три четверти вещей» сочетаются со словами Пильняка о том, что он за республику, что революция благословенна – в этом ещё надо разобраться. Однако же хвалят его, хвалит и нарком просвещения товарищ Луначарский: «Если обратиться к беллетристам, выдвинутым самой революцией, то мы должны будем остановиться прежде всего на Борисе Пильняке, у которого есть свое лицо, и который является, вероятно, самым одаренным из них».

Что уж тут говорить, если даже Сталин с одобрением отозвался о романе «Голой год», опубликованном в 1922 году, упомянув его в лекции «Об основах ленинизма»:

«Кому не известна болезнь узкого практицизма и беспринципного делячества, приводящего нередко некоторых "большевиков" к перерождению и к отходу их от дела революции? Эта своеобразная болезнь получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка "Голой год", где изображены типы русских "большевиков", полных воли и практической решимости, "функцирующих" весьма "энегрично", но лишенных перспективы, не знающих "что к чему" и сбивающихся, ввиду этого, с пути революционной работы».

Довольно точно исходные мотивы автора «Голого года» описывает филолог Дмитрий Фёдоров:

«Для него большевики "из русской рыхлой, корявой народности – лучший отбор". Их селекция в "людей особого склада" "произошла на почве восстания воли" – решительного раз-

рыва с милосердием, состраданием, жалостью к человеку, религиозностью, смирением, всечеловечностью, что Ф. Ницше называл "моралью рабов", а Н. Бердяев – органичными "свойствами русской души"... Обезличивание личности путем ее превращения в функциональный винтик революционного механизма возводится Б. Пильняком в степень героической самоотверженности назойливым лейтмотивом: "Энегрично фукцировать". Вот что такое большевики!»

Можно ли после этого говорить о том, что Борис Пильняк понял революцию? Если понял, то по-своему, и это совсем не то понимание, к которому в ранних своих рассказах пришёл Андрей Платонов. У Платонова больше доброты, любви к простым людям, а в словах Пильняка то и дело сквозит издевка над их невежеством. Вот и Троцкий поначалу не считал его даже «попутчиком», что следует из его записки в Секретариат ЦК:

«Мы несомненно рискуем растерять молодых поэтов, художников и пр., тяготеющих к нам... Уже сейчас выделить небольшой список несомненно даровитых и несомненно сочувствующих нам писателей, которые борьбой за заработок толкаются в сторону буржуазии и могут завтра оказаться во враждебном нам лагере, подобно Пильняку».

Желанием большевиков перетянуть талантливых молодых писателей на свою сторону можно объяснить предоставленную Пильняку возможность посетить Эстонию и Германию. Помимо налаживания контактов с зарубежными издателями Пильняк встречался там с представителями эмиграции. Считается, что эти встречи повлияли на решение Алексея Толстого и некоторых других писателей возвратиться на родину, в Россию.

Вернувшись домой, Пильняк занимается организацией литературного альманаха «Круг». Однако не всё так гладко в его карьере – внезапно возникла проблема с публикацией сборника рассказов. И тут за Пильняка вступает товарищ Троцкий – снова он пишет записку в Секретариат ЦК:

«Предлагаю немедленно поставить на разрешение Политбюро вопрос о конфискации, наложенной на книгу Пильняка "Смертельное манит". Ни по содержанию, ни по форме эта книга ничем не отличается от других книг Пильняка, которые, однако, не запрещены и не конфискованы... В отношении автора к революции та же двойственность, что и в "Голом годе". После того автор явно приблизился к революции, а не отошел от нее. В согласии с уже состоявшимся решением ЦК по отношению к авторам, развивающимся в революционном направлении, требуется особая внимательность и снисходительность».

На чём основан вывод Троцкого, будто Пильняк приблизился к революции – это осталось неизвестно. Возможно, доказательством послужило возвращение Пильняка в Россию из заграникомандировки. А через год Пильняка снова отправляют за границу – на этот раз он едет в Англию. Знакомство с этой страной вызвало у Пильняка вполне естественное желание – достигнуть такого положения в обществе, чтобы иметь возможность путешествовать по белу свету. И чтобы везде его встречали на «ура!». Об этом и пишет своему приятелю: «В Россию из Англии я приехал в настроении хмуром, – я видел английскую культуру и дома решил делать только одно: работать, писать».

Но пишет не только он, пишет и его покровитель, прекрасно разбирающийся в литературе. В 1923 году Лев Троцкий публикует книгу «Литература и революция», в которой есть целая глава, посвящённая Борису Пильняку:

«Пильняк очень метко и остро наблюдает осколочный быт наш; в этом сила его; он реалист. Сверх этого он знает и об этом своем знании заявляет, что Россия озонируется, что в ней и с ней происходят прекрасные муки рождения; что в суматохе вшей, брани, мешочников совершается величайший в истории перевал. Знает же это Пильняк, раз открыто заявляет. Но в том и беда, что только заявляет, как бы даже противопоставляя эти свои заверения живой и жестокой подлинности быта. Он не отвращается от революционной России, наоборот, прием-

лет и даже по-своему возвеличивает, но декларативно; художественно же оправдать не может, ибо идейно не охватывает».

Что ж, для «попутчика», как называют официально Пильняка, такое состояние вполне естественно – одни лишь декларации в защиту революции, а пишет совершенно о другом. Приемлет он революционную Россию только потому, что другого не дано, а высказать своё негативное отношение к большевикам просто не решается. Троцкий наверняка это понимает, но в своих выводах не столь категоричен:

«Потомки будут говорит о "прекраснейших днях" человеческого духа. Прекрасно: но место самого Пильняка в этих днях? Смутно, туманно, двойственно. Не оттого ли Пильняк как бы дичится явлений и людей, которые строго определяют и осмысливают совершающееся? Пильняк обходит коммунистов, чаще всего – с уважением, чуть-чуть холодно, иногда с симпатией, но обходит. Вы почти не видите у Пильняка революционера-рабочего, и главное – глазами его автор не глядит и не умеет взглянуть на совершающееся».

Троцкий здесь выдаёт желаемое за действительное. На мой взгляд, Пильняк «взглянуть на совершающееся» глазами революционера не желает. Большевик – это совершенно чуждый ему человек, это обезличенные «кожаные куртки» и не более того. Но Троцкий оставляет открытой дверь для будущего классика:

«Пильняк – писатель молодой, но всё же не юноша. Он вошел в самый критический возраст. И большой опасностью тут является преждевременная, так сказать, скоропостижная маститость: еще не перестал быть подающим надежды, как уже стал оракулом. Пишет, как оракул: и по многозначительности, и по темноте, жречески намекает, учительствует, а ему надо учиться и учиться, ибо концы с концами у него не связаны не только общественно, но и художественно... Талантлив Пильняк, но и трудности велики. Надо ему пожелать успеха».

Весьма образно, следуя собственному неподражаемому стилю, оценил потенциальные возможности популярного писателя Виктор Шкловский:

«Узнав (из вещей), что в Пильняке немецкой крови наполовину и что он ел в детстве немецкие печенья, думаю, что в основе он немец, желающий быть добрым малым и хорошим товарищем... Куда пойдет Пильняк? Идейно он, может быть, будет вращаться вокруг невидимой оси русской революции. В вопросах же мастерства его основной прием как будто оказывается легко разгадываемым. Вряд ли на нем можно работать долго... Из бессвязности стянутых за волосы (бороду) кусков он создал свой стиль. Л. Д. Троцкий... как-то писал, правда, от лица "доктора": "...ненормальность становится нормой, когда ее подхватывает поток развития и закрепляет в общую собственность».

Не обошёл вниманием известного писателя литературовед Пётр Коган, ставший позднее президентом Академии художественных наук:

«Писатель нервный, писатель беспорядочных, моментальных снимков, художник каких-то бьющих в глаза мельканий. Пильняк обращен к прошлому скорее, чем к будущему. Его взору открыты не столько кожаные куртки, люди со стальной волей, без колебаний в душе идущие к цели, сколько искалеченные остатки прошлого, раздавленные беспощадным колесом истории, обломки знатных фамилий, потерпевшие крушение интеллигенты, неврастеники и алкоголики, ищущие спасения в угаре мистических половых одурений».

О литературном стиле Пильняка сказано очень верно. Но тут уж ничего не поделаешь – как правило, изменить собственный характер, сколько ни старайся, не удастся никому. Было бы странно, если бы Пильняк писал как Лев Толстой – скорее уж тут чувствуется влияние Платонова, однако Андрей Платонович, по счастью, не был привержен к «моментальным снимкам» и «мельканиям».

Видимо, большая нужда была в талантливых писателях, если прощали Пильняку и идейную невыдержанность произведений, и заблуждения, которые старались попросту не замечать.

Пильняк успел побывать в Японии и в Соединённых Штатах, описав позже впечатления от путешествий в книгах «Корни японского солнца» и «О'кэй».

Насколько справедливо то, что Пильняк писал о дальних странах, не берусь судить. Что же касается его восприятия русских, всей России, то ещё в 1923 году в повести «Третья столица» Пильняк вложил в уста своего героя следующие слова:

«Ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это? Массовый психоз, болезнь, слепота?»

Увы, объяснение этому явлению в повести дано невнятное и маловразумительное. Пильняк так и не нашёл ярких образов, которые позволили бы выразить отношение к происходящему в России, как это сделали Булгаков в «Собачьем сердце» и Олеша в «Зависти». Возможно, ему так нравилось положение «приближающегося к революции попутчика», что не хотелось без особой надобности рисковать.

Попытка написать правду, или по крайней мере то, что ему казалось наиболее близким к истине, была предпринята в «Повести непогашенной луны», посвящённой судьбе командарма Гаврилова, в котором читатель без труда угадывает черты Михаила Фрунзе. В 1926 году редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский согласился напечатать эту повесть, интрига которой основана на предположении, будто Фрунзе был убит на операционном столе по приказу Сталина. Вот как писал об этом сын писателя Борис Андроникашвили-Пильняк:

«В книге "М. В. Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников"... мы находим по крайней мере в трех местах подтверждение выдвинутой Пильняком версии. Ближайший друг и сподвижник Фрунзе И. К. Гамбург свидетельствует о нежелании Фрунзе ложиться на операцию по поводу язвы и то обстоятельство, что он делает это по приказу партии и даже самого Сталина. Совпадение отдельных реплик говорит о том, что Борис Андреевич получил материал от ближайшего окружения Фрунзе, т. е. повесть в основе своей документальна».

Впрочем, в предисловии к повести Пильняк для вида сообщает, что Фрунзе совершенно ни при чём:

«Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю – и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвонена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц».

Пильняк здесь слегка лукавит, намекая, будто сам всё выдумал. Гораздо честнее написать, что сюжет повести основан был на слухах, а слухи недалеко бывают от реальности. Источником информации об обстоятельствах смерти Фрунзе мог быть Леонид Серебряков, близко знакомый с Феликсом Дзержинским, работавший его заместителем в наркомате путей сообщения. Александр Воронский и Пильняк были частыми гостями в семье Серебряковых. Однако в этой версии смерти Фрунзе не всё так очевидно, как может показаться поначалу.

Начнём с того, что в те годы в высшем руководстве партии шла борьба за власть между Сталиным и Троцким. В начале 1925 года Сталину удалось ограничить власть Троцкого, сместив его с поста председателя Реввоенсовета и назначив на его место Михаила Фрунзе. По этому поводу Троцкий позже написал: «Я уступил пост без боя... чтобы вырвать у противников орудие инсинуаций насчет моих военных замыслов». Не суть важно, почему он уступил, поскольку гораздо интереснее понять, с какой стати Сталин, едва назначив Фрунзе на ответственный пост, решил от него избавиться. Этому нет логического объяснения, хотя даже Василий Аксёнов в «Московской саге» придерживался этой версии.

Но вот прошло немало лет, стали доступны прежде закрытые архивы, и тут вдруг выяснилось, что сам Фрунзе настаивал на операции, видимо, слишком много неудобств доставляла

ему эта язва. Вот что он писал жене: «Я всё ещё в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не отказали в операции».

Поскольку версия о преднамеренном убийстве рухнула, хотелось бы понять, в чём же причина появления подобных слухов. Тут следует учесть, что Воронский и Серебряков принадлежали к «левой оппозиции», которая группировалась вокруг Троцкого. Да и сам Пильняк, хотя и был далёк от политики, испытывал благодарность к Троцкому за его поддержку. А весь этот скандал, даже намёк на причастность Сталина к убийству Фрунзе давали шанс Троцкому удержать свои позиции во власти. Как известно, и это ему не помогло – через несколько месяцев Троцкий был выведен из Политбюро.

Пильняк оказался марионеткой в сложной политической игре. После того, как повесть запретили к публикации по решению Политбюро, нужно было найти «крайнего». Дочь Александра Воронского вспоминала:

«Когда автора стали официально спрашивать... он, очевидно испугавшись, сказал, что повесть в таком плане посоветовал написать ему Воронский. А поскольку все это происходило в разгар борьбы с оппозицией, вопрос разбирался в "высших сферах", и вся тяжесть обвинения пала на моего отца».

Скорее всего, так оно и было – написать повесть посоветовал Воронский. Ему могли быть известны многие реальные обстоятельства неудачной операции от членов комиссии по похоронам, в которой он состоял и сам. Идея возникла позже, возможно, в разговоре с Троцким. Ну а когда Пильняк эту повесть написал, редактор «Красной нови», желая отвести подозрения от себя, под каким-то предлогом отказался от публикации, в результате чего автор обратился в «Новый мир». Однако до читателей повесть так и не дошла, поскольку весь тираж журнала был конфискован. Кстати, на автора идеи указывает и такой факт: Пильняк посвятил повесть именно Воронскому.

В мае 1926 года Политбюро приняло специальное постановление:

«Признавая, что "Повесть о непогашенной луне" Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги "Нового мира"... Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пильняка "Повесть о непогашенной луне" не могли быть созданы Пильняком иначе, как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти тов. Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на тов. Воронском. Объявить тов. Воронскому за это выговор».

Только после того, как запретили печататься в литературных журналах, Пильняк сообразил, в какую передрагу он попал. Срочно нужно было оправдаться, предложить властям приемлемое объяснение, покаяться в грехах. Вот что он написал председателю Совнаркома Рыкову:

«Я пишу Вам по поводу моей повести о "Непогашенной луне", получившей столь печальную для меня известность... Никак я не ожидал той судьбы, которая постигла этот рассказ, ибо все мои симпатии были на стороне героев-партийцев и злобствовал я только против врачей... Ввиду того, что в рассказе были места, дававшие повод считать, что рассказ посвящен смерти т. Фрунзе, редакцией "Нового мира" было предложено мне написать предисловие, что я и выполнил... Я вижу, что появление моего рассказа и напечатание его – суть бестактности. Но поверьте мне, что в дни написания его ни одной такой мысли у меня не было... Я прошу Вашей помощи в том, чтобы я мог быть восстановлен в правах советского писателя».

Известна резолюция Сталина на этом письме: «Пильняк жульничает и обманывает нас». До более жёстких выводов дело не дошло, поскольку, судя по всему, Сталин понимал, что Пильняк всего лишь пешка в той игре, которую вёл Троцкий.

Тем временам провинившийся писатель развил бурную активность. Одно за другим он пишет покаянные письма. Вот, например, фрагмент из письма в редакцию «Нового мира»:

«Я никак не ожидал, что эта повесть сыграет в руку контрреволюционного обывателя и будет гнуснейше им использована во вред партии, ни единым помыслом не полагал, что я пишу злостную клевету, сейчас я вижу, что мною допущены крупнейшие ошибки, не осознанные мною при написании».

Как может обыватель использовать повесть Пильняка во вред большевикам, можно лишь догадываться. Но получается так, что, написав повесть, Пильняк всего лишь совершил ошибку, а главный вред – от обывателя. Если он конечно повесть прочитал. Тут изворотливости писателя можно только позавидовать.

В письме главному редактору «Известий» Пильняк пытается отмежеваться от «левой оппозиции»:

«Мне известны разговоры о том, что повесть была инспирирована оппозиционерами. Я отрицаю это: я не знаю, была ли уже оппозиция в декабре прошлого года, когда повесть создавалась, – во всяком случае, мне о ней ничего не было известно».

Что удивительно, подробности случившегося с Фрунзе, тщательно скрываемые от широкой публики, известны писателю в деталях, а полемические статьи, которые ежедневно публикуются в газетах, ему вроде бы некогда читать.

Несколько месяцев прошли, как принято говорить, в напряжённом ожидании. Не исключено, что Пильняк пожалел, что пренебрёг профессией экономиста. Но то ли он оказался очень уж настойчивым, то ли после исключения Троцкого из Политбюро стал не опасен. В итоге Сталин смилостивился, решив, что полгода «карантина» для Пильняка вполне достаточно. Очередное постановление о Пильняке было принято в январе 1927 года:

«В связи с напечатанием в № 1 "Нового мира" за 1927 г. письма Б. Пильняка считать возможным отменить решение ПБ от 13 мая 1926 г. (пр. № 25, п. 22, подпункт "д") о снятии Пильняка со списков сотрудников журналов "Красная новь", "Новый мир" и "Звезда"».

Для Пильняка жизнь снова возвратилась в прежнее русло. Вот что через два года после цитированных мной покаянных писем сообщал Борис Пастернак в письме к своей сестре:

«Раз уж взявшись за перо, хочу рассказать тебе о Пильняке... Ты, вероятно, знаешь, что в числе четырех-пяти наших писателей у него – мировое имя, что он переведен на много языков и, может быть, даже видела или могла видеть в витрине "Das nackte Jahr"... Мы часто ездим к нему в Петровский парк, где у него чудесный небольшой коттедж, великолепный дог, привезенный из Египта, хороший подбор старинных книг, мебель красного дерева...»

Однако Сталин не забыл «клеветнического выпада» и продолжал внимательно следить за творчеством писателя. Видимо, всё ещё нуждался в литераторах-попутчиках, изредка как бы подстёгивая их своей критикой. Досталось и Пильняку в ответе Сталина коммунистам РАПП в феврале 1929 года:

«Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о "бережном" отношении, а для Б.-Белоцерковского не оказалось таких слов?»

Вождь как в воду глядел, хотя в это время он ещё не знал, что повесть Пильняка «Красное дерево» издана без ведома властей в берлинском издательстве «Петрополис». Что тут поделаешь, за всем не уследишь. Уж так случилось, что повесть популярного российского автора издали не в СССР, а почему-то за границей – да мало ли какие соображения были у писателя. Проблема в том, что в этой небольшой повести, посвящённой жизни провинциального городка, показана весьма неприглядная картина советской действительности, не оставляющая никакой надежды на лучшую жизнь в обозримом будущем. По сути, и здесь Пильняк словно бы вновь следует за мыслью Троцкого: революция пошла не тем путём, революция переродилась.

Когда информация об этом издании дошла до руководства, начался скандал. Достаточно привести лишь некоторые заголовки в газетах: «Советская общественность против пильняков-

щины», «Об антисоветском поступке Б. Пильняка», «Писатели осуждают пильняковщину», «Уроки пильняковщины», «Против пильняковщины и примиренчества с ней». Ильф и Петров написали на эту тему фельетон, опубликовав его в журнале «Чудак». Даже Маяковский не сдержался, выразив своё отношение к поступку коллеги по писательскому цеху:

«К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов. В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене».

Пильняк снова попытался сыграть в опасную игру – декларируя свою лояльность большевистской революции и признавая «крупнейшие ошибки», продолжал писать совсем не то, что требовала власть. Но снова эта попытка оказалась неудачной – покаяние на диспуте «Писатель и политграмота» не помогло, и Пильняк был отстранён от руководства Всероссийским Союзом писателей.

Опять пришлось оправдываться – Пильняк пишет письмо в «Литературную газету»:

«О том, что "Красное дерево" появилось в "Петрополисе", я узнал только тогда, когда получил книгу, – причем: в проспекте „Петрополиса", этого издательства берлинских белогвардейцев, как определяет Волин, я прочитал, что там изданы книги моих товарищей по советской литературе, а именно – Вас. Андреева, Веры Инбер, В. Каверина, Н. Никитина, Пант. Романова, А. Толстого, К. Федина, Ю. Тынянова, А. Сытина и др. – и не нашел ни одного имени беллетристов-эмигрантов. Позднее "Красного дерева" в этом же издательстве появился "Тихий Дан" Шолохова. Список приведенных авторов не родил во мне мысли, что я попал "в контакт с организацией, злобно-враждебной Стране Советов"... Я чувствую себя в атмосфере травли. В таких обстоятельствах оправдываться трудно и работать еще трудней, но тем не менее: будучи одним из зачинателей советской литературы, издав первую в РСФСР книгу рассказов о советской революции, – я хочу и буду работать только для советской литературы, ибо это есть долг каждого честного писателя и человека».

Если вчитаться в эти строки «зачинателя советской литературы» повнимательнее, их можно квалифицировать как донос. Известные советские писатели сотрудничают с издательством «берлинских белогвардейцев» – это ли не повод для репрессий. Судя по письму, Пильняк надеялся спрятаться за спинами своих коллег. Когда это не помогло, он попытался «перелицевать» своё творение, дополнив его новыми главами, несколько сменив акценты и придумав новое, нейтральное название – «Волга впадает в Каспийское море». Здесь уже намечается тенденция – для заграничных читателей Пильняк пишет то, что может им понравиться, за это его там готовы на руках носить, ну а в других произведениях демонстрирует лояльность большевистской власти. Однако веры ему уже нет – вот что говорил по этому поводу молодой поэт Леонид Шемшелевич во время творческой дискуссии в Ростовской ассоциации пролетарских писателей:

«Не так давно Пильняк за границей издал контрреволюционное "Красное дерево". "Красное дерево" он сейчас переделал, отшлифовал и сделал роман "Волга впадает в Каспийское море". Но даже при поверхностном чтении видно, что это поверхностная перелицовка, видно, что у Пильняка за красными словами скрывается белая сердцевина».

Что касается сердцевины, вряд ли она была белой. Скорее уж совсем бесцветная, поскольку у Пильняка не было твёрдых убеждений – ни за красных, ни за белых, а по большей части за себя.

Отношение властей к «заблудшему» писателю наглядно продемонстрировано в статье из Малой советской энциклопедии 1930 года:

«Пильняк, современный писатель. Приобрел известность повестью "Голый год" (1922), где он изобразил по преимуществу обреченных людей, классы общества, которые Октябрьская

революция сметала с лица земли... Политическая беспринципность этого представителя буржуазной интеллигенции резко сказалась в его повести "Красное дерево"».

Но как ни странно, уже через год после очередного скандала Пильняк снова оказывается на коне. По-прежнему встречается с влиятельными персонами, к нему благосклонно относятся даже руководители НКВД. С Яковом Аграновым он общался ещё с тех пор, как тот по секрету сообщил о кое-каких обстоятельствах смерти Фрунзе. Знаком он был и с семьёй Николая Ежова – об этом писала в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам:

«В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож, куда мы попали по недосмотру Лакобы, со мной разговорилась жена Ежова: "К нам ходит Пильняк, – сказала она. – А к кому ходите вы?" Я с негодованием передала этот разговор О. М., но он успокоил меня: "Все ходят". Видно, иначе нельзя. И мы ходим. К Николаю Ивановичу"».

Поясню, что тут речь идёт о другом Николае – чета Мандельштамов ходила не к Ежовым, а к Бухарину.

Жизнь продолжалась, Пильняк всё ещё оставался популярным писателем, особенно за рубежом, доходов на приличное житьё-бытьё вполне хватало. Единственное, что вызывало огорчение – это запрет на заграничные командировки. Что тут поделаешь, Пильняк снова пишет Сталину:

«Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы».

К таким заявлениям мы уже привыкли, поэтому от деклараций переходим к покаянию:

«В моей писательской судьбе множество ошибок. Я знаю их лучше, чем кто-либо... Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание "Красного Дерева"... Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакцию, но дела: ... я нашел издателя и напечатал мой роман "Волга впадает в Каспийское море"».

Пильняк и тут пытается прикрыться чужим именем – в данном случае это ВОКС, Всесоюзное общество по связи с заграницей, по каналам которого рукопись и была переправлена в Берлин. Что представлял собой этот «новый» роман, мы уже знаем со слов Леонида Шемшевича, поэтому перескочим через несколько строк. Тут начинается самое интересное:

«Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка "Красного Дерева" комментировалась не только прессой на русском языке, но западноевропейской, американской и далее японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником... Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот "замученный" писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ... если б этот писатель заявил хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, – это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу».

Так я и думал, что этим всё закончится. Ох и ловко же он попытался окрутить вождя! «Политически использовать мученичество» писателя – такую изящную двухходовку даже Булгаков не смог бы сочинить. А дальше в ход пошёл известный всякому деловому человеку принцип «ты – мне, а я – тебе» – не зря же учился Пильняк на коммерсанта:

«Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся... Я хочу противопоставить нашу, делаемую, строящую, создаваемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей».

Далее следуют строки, при чтении которых я мог бы даже прослезиться – но только не в этих обстоятельствах:

«Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь».

И снова Сталин этому «жулику» и «обманщику» поверил – уж очень он хотел создать за рубежом стараниями журналистов и писателей образ цивилизованной страны. Позднее он воспользовался для этого услугами Бернарда Шоу, Романа Роллана и Анри Барбюса, ну а до тех пор надеялся на доморожденных писателей. Вот строки из краткого ответа Сталина:

«Проверка показала, что органы надзора не имеют возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным».

Пильняк получил желаемое, однако возникает вот какой вопрос: почему писатель предпочитал ходить по краю пропасти, а не остался за границей? Вот и Виталий Шенталинский недоумевает:

«Замятин сделал решительный шаг – обратился к Сталину и получил разрешение уехать за границу, – ему последнему была отпущена эта высочайшая милость. Пильняк остался один, без всякой защиты, под массивными, нараставшими ударами критики».

Видимо, будь это 1937 год, решение могло быть однозначным, а в 1931-м Пильняк продолжал играть в свою игру. Он не единожды наведывался за границу и, вероятно, видел выгоду в том, чтобы жить в СССР. Европа переполнена русскими писателями – Набоков, Бунин... Список можно было бы продолжить. В России же он ощущает себя «зачинателем литературы», так зачем же уезжать, рискуя потерять читателей?

Приведу ещё один фрагмент из книги Шенталинского:

«В 20-е годы он говорил: "Чем талантливее художник, тем он политически бездарнее... Писатель ценен только тогда, когда он вне системы... Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон..." В 30-е он клянется в верности партии и социализму и славит Сталина: "Поистине великий человек, человек великой воли, великого дела и слова". В 20-е годы он считал: "Человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой" – и призывал к милосердию. В 30-е требует наказания "врагов народа" еще до вынесения приговора суда и призывает "уничтожить каждого, кто посягнет на нашу Конституцию". Тут уж не слепота чередуется с прозрением, как это было раньше, а демонстративный цинизм».

Материальное обоснование этого цинизма находим в дневнике главного редактора журнала «Новый мир» Вячеслава Полонского:

«Вернулся из Америки Б. Пильняк. Привез автомобиль – и на собственном автомобиле, без шофера, прибыл из Ленинграда. Предмет всеобщей зависти: ловкач! Создает вокруг себя шум какой-нибудь контрреволюционной вещью, – затем быстро публично кается, пишет статью, которая обнаруживает всю глубину его "перестройки", – тем временем статьи печатаются о нем, имя его не сходит со страниц, книги раскупаются. – Заработав отпущение грехов, получает заграничную командировку; реклама, конечно, перебрасывается за границу. И парень пожиная лавры... Пильняк хитер. Он, конечно, чужд революции. Он устряловец, чистопробный собственник, патриот "России". Но умеет "маневрировать", умеет кривить душой, подделываться, а главное, извлекать из всего этого "монету"».

Во время поездок за границу Пильняк, по сути, исполнял негласное распоряжение вождя, создавая впечатление, будто советская власть способна воспитывать талантливых писателей. Однако на родине его репутация была в значительной степени подмочена. Осталась надежда что-то изменить, обратившись в Сталину:

«Я должен был бы написать Вам сейчас же после возвращения из Америки, чтобы благодарить Вас за данную мне возможность быть за границей. Я хотел это сделать, приложить к письму ту книгу, которую я сейчас заканчиваю, об Америке. Но мои обстоятельства сейчас складываются так, что я, кажется, теряю возможность не только что-либо издавать, но и вообще считаться советским гражданином, хотя вины я за собою не чувствую... За месяцы моей поездки обо мне в советской прессе появилось несколько заметок. Ни одной из них не было такой, которая, говоря по существу, не паскудила б меня... Я прошу Вашей помощи, Иосиф Виссарионович. Я хочу чувствовать себя советским гражданином и работать в нормальных для советского писателя условиях. Я прошу Вас помочь мне восстановить права советского гражданина и писателя».

Мало Пильняку того авторитета, который он заработал за границей. Он хочет, чтобы Сталин дал соответствующее указание критикам и обличителям, мол, это наш писатель, не смейте его трогать! Ещё более желанным для Пильняка было снятие запрета на печатание его книг в СССР – доходов от издания книг за границей на жизнь хватало, однако в многомиллионной стране читателей горздо больше. Судя по всему, последовало разрешение на публикацию его произведений – Сталину нравилось, когда люди каялись в грехах.

Увы, даже в приказном порядке отношение к Пильняку в России вряд ли могло бы измениться. Вот как жена Пастернака вспоминала о встречах с Пильняком:

«Я относилась к нему с предубеждением, мне казались странными его литературные установки. То он приходил к нам и прорабатывал Борю за то, что тот ничего не пишет для народа, то вдруг начинал говорить, что Боря прав, замкнувшись в себе, что в такое время и писать нельзя».

Бенедикт Сарнов в своём четырёхтомнике «Сталин и писатели» пытался объяснить этот «загадочный психологический феномен», воспользовавшись термином из романа Джорджа Оруэлла «1984». Речь идёт о двоемыслии – способности придерживаться двух взаимоисключающих убеждений. Думаю, что никакого двоемыслия тут не было – была только опасная игра, что называется, на грани фола.

В 1933 году Пильняк снова оказался за границей, на этот раз в Париже. К этому времени во Франции успели издать несколько его книг. В издательстве «Галлимар» ещё в 1922 году вышел в свет роман «Голый год», в 1928 году в издательстве «Европа» – повесть «Красное дерево», а в 1931-м в издательстве «Каррефур» – «Волга впадает в Каспийское море». Вряд ли можно усомниться в том, что это была весьма приятная для Пильняка поездка.

А в это время в ОГПУ уже накапливали компрометирующие материалы на писателей. Вот несколько фраз из донесений сексота, приставленного к Андрею Платонову:

«Большое раздражение вызвала у Платонова чистка парторганизации горкома писателей: «настоящие враги в литературе не там, где их ищут, а примазавшиеся – всякие Зелинские, маскирующиеся вроде Пильняка или Олеси... Зачем кормить Пильняков, которые определили себя в роли "советских контрреволюционеров", "домашних чертей"?»

Высказывания Платонова вряд ли можно объяснить завистью к своим удачливым коллегам. В отличие от Пильняка он был сторонником советской власти, хотя далеко не всё одобрял в действиях руководителей большевистской партии.

Нелестный отзыв о Пильняке можно прочесть и в дневнике Корнея Чуковского – эта запись датирована уже 1935 годом:

«Кольцов почему-то советует, чтобы я не видался с Пильняком. Странная у Пильняка репутация. Живет он очень богато, имеет две машины, мажордома, денег тратит уйму, а откуда эти деньги неизвестно, т.к. сочинения его не издаются. Должно, это гонорары от идиотов иностранцев, которые издают его книги».

Ну не совсем конечно идиоты, однако издают, поскольку есть потенциальные читатели из русских эмигрантов, которым проза Пильняка оказывается по нраву. И в то же время в

России ему то и дело достаётся от властей, но каждый раз всё завершается без огорчительных последствий.

Максим Горький крайне недоволен либеральным отношением к Пильняку. Он пишет в секретариат ЦК:

«Пильняку прощается рассказ о смерти т. Фрунзе – рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК. Прощается ему, Пильняку, "Красное дерево" и многое другое скандальное. Фактов такого рода – немало... Это, разумеется, создает в среде литераторов рассуждения и настроения дрянные».

Как видим, пролетарский писатель составил о Пильняке мнение уже вполне определённое – надежд на его «перевоспитание» к 1935 году не осталось. Американский литературовед Виталий Орлов отчасти это подтверждает:

«Довоенная литературная критика и собратья по перу: Фадеев, Фурманов, даже Горький до самого 37-го года пытались втиснуть Бориса Пильняка в ту колею, двигаясь по которой от двадцатых до тридцатых годов, он должен был созреть как приверженец социалистического реализма, и с которой свернуть было и опасно, и невозможно. Но им это так и не удалось».

Своё неприятие советской действительности, как следует из материалов НКВД, Пильняк подтвердил и во время дискуссии о формализме в марте 1936 года:

«Пастернак сегодня правильно сказал, что формализма у нас нет... Но Пастернака мучают, как выдохшуюся пифию. Заставляют без конца выступать. Сегодня он разразился истерикой о партии, но всем же было ясно, что нам, мыслящим людям, нельзя усомниться даже в мелочах: сейчас же секут и заставляют каяться».

Претензии к Пильняку находим и в отчёте о расширенном заседании редакции и актива журнала «Новый мир», состоявшемся в сентябре того же года. Вот как ответственный редактор «Нового мира» Иван Гронский ответил Пильняку:

«Ты бросил реплику, что ты отмежевываешься от врагов в своих произведениях. В каких? В "Повести непогашенной луны" или в "Красном дереве"? Эти произведения написаны по прямым заданиям троцкистов. Сознательно или несознательно ты направлял их против революции – другой вопрос».

В 1937 году произведения Пильняка в СССР уже снова не печатали. В опалу вместе с ним попали многие писатели и деятели искусства. Похоже, к этому времени вождь окончательно убедился, что Бабель, Мейерхольд, Пильняк и даже «сталинист» Кольцов так и не стали убеждёнными сторонниками советской власти. Все они только использовали эту власть для достижения собственного благополучия, а власть в свою очередь пыталась использовать их самих.

НКВД уже имел достаточно материалов на писателя. Вот какие аргументы были приведены в справке на его арест:

«Тесная связь Пильняка с троцкистами получила отражение в его творчестве. Целый ряд его произведений был пронизан духом контрреволюционного троцкизма ("Повесть непогашенной луны", "Красное дерево")... В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР. Несомненным является, что эта информация была использована Жидом в его книге против СССР».

И конспирация, и передача информации – всё это, конечно же, придумано. Что-либо конкретное предъявить НКВД не в состоянии, поэтому и присутствует в этой справке лишь намёки да ни на чём не основанные выводы. И тем не менее последовал арест.

Оказавшись за решёткой, Пильняк всё ещё пытался оправдаться, надеясь на благополучное завершение своей игры. Он пишет покаянное письмо наркому внутренних дел Ежову:

«Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только

уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно».

Да, он ещё надеется. Надеется, что чистосердечное признание поможет смягчить неизбежное наказание. И повторяет вслед за следователем слова, подобные которым не раз звучали в кабинетах на Лубянке:

«Так как я ничего не хочу таить, я должен сказать еще – о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно как и иностранцы других стран. Обо всем этом я расскажу подробно в процессе следствия».

Тактика, которую избрал на следствии Пильняк, сводилась к тому, чтобы хотя бы часть вины свалить на других людей, что он и прежде делал в покаянных письмах. Как следует из протоколов допросов, напрямую он никого не обвинял, однако при желании можно сделать вывод, что он попросту не ведал, что творил:

«Идею написания этой повести [имеется в виду "Повесть непогашенной луны"] мне подал Воронский. Во время писания я читал ее тогдашним моим товарищам, читал, в частности, и Агранову. Агранов рассказал мне несколько деталей о том, как болел Фрунзе. Затем у меня было собрание, обсуждавшее повесть. Присутствовали: Полонский – редактор "Нового мира", Лашевич – которого я пригласил как военного специалиста... Все они одобрили повесть, а Полонский нашел, что нужно сделать предисловие к повести, которое тут же и было написано... В 1928 г. вместе с Андреем Платоновым я написал очерк «Че-Че-О», напечатанный в "Новом мире", который заканчивается мыслью о том, что паровоз социализма не дойдет до станции "Социализм", потому что тормоза бюрократии расплавят его колеса».

В своих признаниях Пильняк рассчитывает на жалость, признаёт свои ошибки и упирает на то, что уже достаточно наказан:

«Я написал наиболее резкую антисоветскую повесть "Красное дерево", изданную за границей. "Красное дерево" оказалось водоразделом для литераторов, с кем они: с Советской ли властью или против... На протяжении ряда лет все мои общественно-литературные стремления сводились к желанию «вождить», но из этого ничего не выходило. Я терпел неудачу за неудачей, в конечном итоге большинство писателей, поняв антисоветскую сущность моих стремлений, отошло от меня».

Но все эти покаяния оказались ни к чему. Видимо, Сталин решил, что время писателей-попутчиков закончилось – пришла пора идейно преданных творцов. Однако даже на суде Пильняк продолжал свою игру. В книге Виталия Шенталинского находим фрагмент из финала судебного заседания, на котором писателю вынесли смертный приговор:

– Признаете ли вы себя виновным? – спросил Ульрих.

– Да, полностью, – говорил Пильняк. – И полностью подтверждаю свои показания. На следствии я рассказал всю истинную правду и добавить ничего не имею.

Последнее слово подсудимого. Каждая фраза заранее продумана, взвешена. И кажется, это уже обращение не столько к трехглавой гидре суда, сколько поверх него – к способным слышать:

– Я очень хочу работать. После долгого тюремного заключения я стал совсем другим человеком и по-новому увидел жизнь. Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь.

О том же он писал когда-то Сталину. Возможно, искренне хотел написать роман, который бы понравился вождю. Но на заказ у него ничего не получалось, отчасти и за это был судим. Ну что поделаешь, виноват, не справился! А в результате столь жестокий приговор.

В своей книге «Сталин» Лев Троцкий так объяснил события 37-го года:

«Среди тех, которые каялись и обещали верную службу, было немало бескорыстных и искренних людей. Они, конечно, не могли заставить себя верить, что Сталин – отец народов и пр. Но они видели, что в его руках власть... Они обещали ему свою верность без всякой задней мысли... Тем не менее они не спаслись. Сталин не верил им».

Тут следует уточнить: Сталин не верил, если на то были основания. Всё дело в том, что вождь не допускал инакомыслия ни в какой форме. Есть линия партия и больше ничего! Клятвы верности его ни в чём не убеждали. Если он узнавал, что за его спиной кто-то вёл вредные разговоры, выражал сомнение в правильности господствующей идеологии, он мог поставить на этом человеке крест. Но мог и обождать, надеясь, что человек всё же переменится. Однако после того как ему донесли о заговоре командармов, чаша терпения иссякла. На карту была поставлена и его власть, и социализм в его специфическом, советском понимании. А потому наказание следовало даже за ненароком высказанные слова, если они противоречили партийным установкам.

Булгаков, Платонов и Пастернак не клялись в преданности великому вождю, даже не скрывали некоторой своей оппозиционности режиму, но в годы «великой чистки» их не тронули. Опасности не представляли аполитичные Зощенко и Олеша. Шолохов лишь запил горькую, так и не решившись на самоубийственные откровения. И только Пильняк продолжал свою игру, рассчитывая всех и вся переиграть. Он не догадывался, что Сталин давно уже разглядел в нём «жулика». Вождю пришлось немного подождать, пока от Пильняка была хоть небольшая польза. Но вот терпению пришёл конец.

## Глава 4. Этот ужасный Лесючевский

Жил-был литературный критик и публицист Николай Лесючевский. Писал статьи, работал редактором в ленинградском журнале «Звезда», руководил издательством «Советский писатель», на всех своих постах проводя линию партии на воспитание сознательных строителей социализма. И за свои заслуги перед государством был награждён орденами и медалями. Вот и литературовед Анна Гвоздева очень тепло вспоминала о человеке, который дал путёвку в жизнь, в советскую литературу её мужу, писателю Петру Проскурину:

«Лесючевский был настоящий крупный издатель, широко, масштабно мыслящий, с безупречным вкусом при некотором самодурстве. Крупность его личности определяла политику единственного в стране и в Европе элитного профессионального издательства советских писателей... Лесючевский был тяжелым, самостийным, властным человеком; писателей, как таких, не очень-то жаловал. По-настоящему он любил только литературу, русскую прозу и преданно служил ей и ее кумирам».

Вполне благожелательная характеристика, даже несмотря на упоминание о самодурстве. Тем более что путёвка в жизнь, выданная Лесючевским будущему Герою Соцтруда и трижды орденноносцу, способна оправдать любые отклонения от норм общепринятой морали. Казалось бы, такими деятелями литературная общественность могла гордиться. И вдруг обнаруживаю в рассказе у писателя Каледина такие строки:

«Единовластный правитель "Советского писателя" Николай Васильевич Лесючевский – сталинский сокол, Малюта Скуратов, всех женщин, включая уборщиц, принимал на работу самолично. Некрасивых не брал. При нем жизнь в коридорах замирала – женщины боялись выйти даже в туалет. По слухам, он поколачивал свою пожилую секретаршу. Среди его конкретных жертв числились Борис Корнилов, Ольга Берггольц, Николай Заболоцкий – доносы Лесючевского на них всплыли в оттепель».

Надо сказать, что Сергей Каледин отличается довольно резкими суждениями. Даже рассказывая об отце, он не преминул «ущучить» Сталина:

«После его смерти я нашел проездной билет на пригородную электричку. Билет был с фотографией отца, но выписан на Каледина, хотя фамилию всю жизнь папа носил свою – Беркенгейм. Это робкое сокрытие нехорошей фамилии – тоже грустная дань безнаказанности ошалевшему от победы генералиссимусу. Не только над фашистами, но и над своими».

Однако в отличие от покойного вождя, Каледин совсем не кровожаден, и нападая на врагов, пользуется лишь печатным словом. Правда, слегка перестарался, записав Берггольц в жертвы Лесючевского.

Более крепкие выражения в адрес главы крупного издательства находим в воспоминаниях литературоведа Ефима Эткинда. По его словам, на праздновании юбилея Лермонтова в 1964 году ещё один литературовед, Юлиан Оксман, увидев за столом президиума Лесючевского, вскричал на весь зал: «А вы здесь от кого? От убийц поэтов?»

Надо сказать, что в своё время Оксман тоже пострадал, а вернувшись из мест заключения, поставил себе цель – обличать доносчиков и клеветников. За год до упомянутого заседания он анонимно опубликовал на Западе статью «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых», за что позднее был исключён из Союза писателей. Однако речь тут не о нём – Оксман утверждал, что «по клеветническому заявлению Лесючевского в Ленинградское отделение НКВД был осужден на восемь лет лагерей Николай Алексеевич Заболоцкий».

Но вот читаю «Историю моего заключения», написанную поэтом в 1956 году и через четверть века опубликованную за рубежом – там нет и намёка на Лесючевского. Неужели не догадывался, кто доносчик? А ведь Юлиан Оксман всё доподлинно узнал.

Посмотрим, не прояснит ли ситуацию книга «Жизнеописание. Тюрма и лагеря (1938-1944)», написанная сыном поэта, Никитой Заболоцким:

«В деле Заболоцкого имеется только один протокол его допроса после возвращения из больницы – от 22 июня 1938. Желая уличить подследственного, Лупандин ссылался теперь на "свидетельские показания" Е. Тагер и Б. Лившица. Выдержки из протоколов их допросов он зачитывал Заболоцкому, но Николай Алексеевич не хотел верить в их подлинность. Собственными глазами он их не видел, очной ставки с Лившицем и Тагер получить не мог. Судя по всему, следователь был хорошо осведомлен и о круге знакомств Заболоцкого, и об избобилующих политическими выпадами критических статьях, посвященных его творчеству. Не очень грамотного и сведущего в литературных делах младшего лейтенанта Лупандина консультировал бывший рапповец Н. Лесючевский. Очень возможно, что он помогал составлять и протоколы допросов арестованных».

Ну разумеется, возможно, что консультировал и помогал, хотя доказательств Никита Заболоцкий не приводит. Однако почему следователь не зачитал поэту в качестве неоспоримого доказательства вины тот самый донос Лесючевского, на который ссылаются и Оксман, и Каледин? А дело в том, что донос был написан «через три с половиной месяца после ареста Заболоцкого». Тогда это можно трактовать как отзыв – возможно, по заказу НКВД, не исключено, что отзыв клеветнический, но его никак нельзя назвать доносом. Тем более что следователь пытался уличить поэта не с помощью такого отзыва, а ссылкой на показания других подследственных.

Читаю дальше строки из книги Никиты Заболоцкого, посвящённые встрече жены поэта со следователем в 1939 году, когда по просьбе тринадцати известных писателей прокуратура предприняла попытку пересмотра дела:

«Следователь объяснил, что в деле имеются материалы, трактующие произведения Заболоцкого как враждебные советскому строю, и даже прочитал Екатерине Васильевне выдержки из «рецензии» Лесючевского, не скрывая, кто ее автор».

Выходит, знала жена фамилию виновника страданий мужа, наверняка должна была ему рассказать после освобождения. А если не рассказывала, тогда, быть может, все эти разоблачения роли Лесючевского – не более, чем догадки, домыслы? Никита Заболоцкий пишет, что к следователю были вызваны Зоценко, Каверин, Тихонов. Все говорили о поэте «в высшей степени положительно... один Лесючевский упорно стоял на своем и говорил об антисоветском характере творчества Заболоцкого».

Это упорство заставляет усомниться в том, что Лесючевский сознательно оклеветал поэта. А что если в своей рецензии он был предельно искренен? Что если он выразил свою принципиальную идейную позицию? Нельзя же за это сразу называть его доносчиком и клеветником. Вполне возможно, что в Заболоцком он разглядел врага. Ничем не аргументированы и намёки на тесное сотрудничество Лесючевского с «органами»: своих осведомителей и штатных доносчиков в НКВД тщательно оберегали, так что Лесючевский мог быть привлечён к следствию лишь в качестве эксперта.

Однако Бенедикту Сарнову всё предельно ясно. Вспоминая о начале хрущёвской оттепели, он пишет:

«Кто такой Лесючевский, в то время было уже хорошо известно. О его связи с "органами", о которой раньше знали очень немногие и если и говорили о ней, то шепотом, теперь заговорили вслух, широко и даже публично».

О том же в книге «Записки незаговорщика. Барселонская проза» пишет и Ефим Эткинд, в 70-е годы пострадавший за поддержку Солженицына и переписку с Сахаровым:

«Когда после 1956 года тайное стало явным и доносы обнаружались, некоторые писатели потребовали привлечь Лесючевского к ответу. Он написал заявление в партийный комитет Союза писателей (я читал этот фантастический документ), в котором объяснял, что всегда

был преданным сыном своей партии, свято верил в ее непогрешимость и в правильность ее генеральной линии и, составляя по заданию партии разоблачительный комментарий к стихам Корнилова, был убежден в преступности поэта, который, изображая диких зверей, конечно же зашифровывал в зоологических образах советское общество. В 1937-1938 годах он, Лесючевский, был горячим, бескомпромиссным комсомольцем, и вина его разве только в том, что он слишком безоглядно был предан высоким идеалам коммунизма».

Тут наблюдается некоторый сдвиг по времени – архивы МГБ в 1956 году ещё никто не собирался раскрывать. Скорее всего, тайное стало явным, потому что Лесючевский не скрывал своего отношения к творчеству Николая Заболоцкого – ни в 1938 году, ни восемнадцатью годами позже. Довольно странная позиция для штатного доносчика.

При чтении этих «Записок» у меня возник ещё один вопрос. Почему Эткинд верит в правильность линии компартии и в грядущую победу коммунизма даёт такое определение, как «фантастика»? Допустим, что невежественные обыватели были одурачены примитивной пропагандой, однако среди коммунистов было немало честных, умных людей, которые искренне верили в возможность построения социализма. Если в чём-то и ошиблись, то, несомненно, в своей оценке роли Сталина, из-за чего судьба многих из них была трагична. Однако нельзя их всех назвать глупцами или же обманщиками.

А вот ещё один ярлык, который в привычной для себя бескомпромиссной манере навесил на Лесючевского писатель Владимир Войнович в книге «Автопортрет: Роман моей жизни»: «Директором издательства был тогда Николай Васильевич Лесючевский, тупой, ничего не смысливший в литературе бюрократ и доносчик». Вторит Войновичу и Дмитрий Волчек на «Радио Свобода»: «По заданию органов экспертизу стихотворений Корнилова проводил литературовед Николай Лесючевский». А Григорий Свирский в книге «На лобном месте» называет Лесючевского палачом Заболоцкого, «написавшим на него донос».

Михаил Аронов в книге об Александре Галиче тоже не преминул пригвоздить Лесючевского к позорному столбу, довольно произвольно расширив список его жертв:

«Николай Лесючевский – ... это весьма известный стукач, по доносам которого в 1930-е годы было посажено более десяти писателей – в частности, поэты Бенедикт Лифшиц, Павел Васильев и Николай Заболоцкий, а поэт Борис Корнилов (первый муж Ольги Берггольц) – расстрелян».

Допустим, что все эти обвинения абсолютно справедливы, и Лесючевский действительно доносчик и палач. Но как тогда следует воспринимать гневные слова Максима Горького из статьи «Литературные забавы», написанной в 1934 году и посвящённой творчеству нескольких поэтов?

«Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг».

Как-то не поворачивается язык назвать мнение Горького доносом, несмотря на то, что Васильева он назвал врагом. Тут, видимо, причина в особенностях фразеологии тех лет. Не так давно отгремела кровавая гражданская война, а классовая борьба обострялась, если верить словам Сталина. Поэтому даже писатели не выбирали слов, когда набрасывались с критикой на своего идейного противника.

Надо признать, что-то непонятное творилось в русской поэзии 30-х годов. К этому времени уже не было в живых ни Гумилёва, ни Есенина, ни Маяковского. Но обвинения против талантливых поэтов следовали одно за другим, словно бы поэзия стала основным оружием борьбы оппозиции с большевиками. Так неужели Борис Корнилов, Николай Заболоцкий, Павел Васильев – всё это враги? Нет ли в критических статьях против них иных мотивов?

Наталья Соколовская в беседе о судьбе Корнилова на «Радио Свобода» слегка приподняла завесу над тайной превращения поэтов во врагов:

«Ведь началось-то все с чего? Что он завел дружбу с москвичами, с Васильевым и со Смеляковым. Васильев, понятно, это была очень яркая фигура, харизматичная. Кроме того, он имел неосторожность оказаться в нелюбимцах у Алексея Максимовича Горького. Он что-то не так сказал, посмотрел на его невестку, и Горький тогда (это 34-й год) обрушился на Васильева и на Смелякова за их богемный образ жизни. Причем слова там были самые чудовищные. И самое чудовищное из того, что он сказал: "От хулиганства до фашизма расстояние – короче воробьиного носа". Для Смелякова это кончается первым арестом, для Васильева это, в итоге, кончается расстрелом».

Если поверить в это предположение, то всё оказывается слишком просто – достаточно кому-нибудь не угодить, не так на кого-то посмотреть, возможно, не слишком подобострастно поклониться. И вот начинается травля известного поэта – в печати одна за другой появляются критические статьи, а на Лубянке их внимательно читают и подшивают в дело как доносы.

Так, может быть, любое мнение, высказанное против некоего лица, следует квалифицировать как донос? Надеюсь, что-то нам подскажет рецензия Захара Прилепина на книгу о Борисе Корнилове:

«В том разделе, где помещены материалы из следственного дела Корнилова, есть отвратительный в своей подлости документ – литературоведческая экспертиза критика Николая Лесючевского, написанная по заказу НКВД и, по сути, послужившая одной из причин вынесения поэту смертного приговора».

Здесь повторяется всё то же определение – «заказ НКВД». Однако Прилепин высказывает и своё собственное мнение о стихах Корнилова, которые «иногда просто зачаровывают ощущением предстоящего ужаса». Тогда зачем понадобилось заказывать экспертизу Лесючевскому, если даже Прилепину понятно, что поэзия Корнилова далека от образцов социалистического реализма. Кстати, стихи, на которые ссылается Прилепин, довольно слабые:

И нож упадет, извиваясь ужом,  
От крови моей хорошея.  
Потом заржавеет,  
На нем через год  
Кровавые выступят пятна.  
Я их не увижу,  
Я пущен в расход —  
И это совсем непонятно...

Борис Парамонов, знаток творчества Корнилова, выступая на «Радио Свобода», признаёт, что это был далеко не ангел:

«Он поэт очень не простой, хотя в обличье молодого в двадцатых-тридцатых годах скорее всего ожидался именно какой-нибудь комсомольский энтузиазм... Борис Корнилов был не столько комсомольцем, сколько попутчиком. Просто жить выпало в это время, а молодому прежде всего хочется жить, и при любом режиме... С самого начала у него звучат ноты, которые иначе как трагедийными не назовешь... Корнилов видит себя шпаной, лихим парнем, погубителем несчетных девок. И девки у него в основном подлые... И образ жизни у него такой был, с пьянством и скандалами, и стихи такие. Его в 1936 году исключили из Союза писателей – надо полагать не только за пьянство».

Ну что тут скажешь? Действительно, это поэт чуждый «времени великих свершений», да и сейчас такого вроде бы не за что любить. Но вот беда – к поэтам относиться надо по-особенному. Даже несмотря на такие вот стихи:

Жена моя! Встань, подойди, посмотри,  
Мне душно, мне сыро и плохо.

Две кости и череп, и черви внутри,  
Под шишками чертополоха.

Если справедливы в своих оценках Парамонов и Прилепин, тогда в то непростое время запрет на публикацию стихов Корнилова, возможно, был бы обоснован. Вот ведь и Горький опасался влияния поэта Васильева на поэта Смелякова. Вопрос лишь в том, как реагировать на «чуждые» стихи.

Пришла пора познакомиться с той самой рецензией Лесючевского, написанной 3 июля 1938 года:

«Н. Заболоцкий вышел из группки так называемых "обэриутов" – реакционной группки, откровенно проповедовавшей безыдейность, бессмысленность в искусстве, неизменно превращавшей свои выступления в общественно-политический скандал... Трюкачество и хулиганство "обэриутов" на трибуне имело только один смысл – реакционный протест против идейности, простоты и понятности в искусстве, против утверждавшихся в нашей стране норм общественного поведения».

По большей части, тут общие слова, которые при всём желании невозможно трактовать как донос на известного поэта. Далее рецензент переходит к частностям:

«Он советский быт и людей уродует отвратительно. Он одинаково издевательски изображает и советских служащих, и «дамочек», и красную казарму, и красноармейцев, и нашу молодежь. Вот, например, "характеристика" молодежи:

Потом пирует до отказу  
В размахе жизни трудовой.  
Гляди! Гляди! Он выпил квасу,  
Он девок трогает рукой,  
И вдруг, шагая через стол,  
Садится прямо в комсомол».

Честно говоря, это усаживание в комсомол в стихотворении «Новый быт» мне тоже не понравилось. Не потому что живы ещё воспоминания о юности, но вот подумалось, а неужели я когда-то тоже сел, как и герой этой сатиры? Скорее всего, так оно и было, но, слава богу, к тридцати годам сидение закончилось.

Далее критик переходит к анализу поэмы [«Торжество земледелия»](#):

«Это – откровенное, наглое контрреволюционное «произведение». Это – мерзкий пасквиль на социализм, на колхозное строительство. Если принять во внимание, что первый отрывок из "Торжества земледелия" напечатан в год великого перелома, то особенно станет ясна субъективная, сознательная контрреволюционность автора поэмы, его активно враждебное выступление против социализма в один из острейших политических моментов... Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль».

На мой взгляд, написать такое по заказу невозможно. Столь впечатляющие строки пишут исключительно по вдохновению, по зову сердца. Критик здесь ощущает себя сидящим на коне, на голове его будёновка, в правой руке – шашка наголо, и в бой зовёт труба... Его критическое дело – правое! А за последствия пусть другие отвечают. Кстати, Никита Заболоцкий в своих воспоминаниях об отце указывает, что Лесючевский служил в кавалерии. Но это как бы между прочим.

И наконец, следует ожидаемый финал рецензии:

«Таким образом, "творчество" Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма».

Для полноты картины приведу фрагмент из отзыва Лесючевского, который сохранился в следственном деле Бориса Корнилова:

«Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать о них следующее. В этих стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и т. п. мотивов. Политический смысл их Корнилов обычно не выражает в прямой, ясной форме. Он стремится затушевать эти мотивы, протащить их под маской "чисто лирического" стихотворения, под маской воспевания природы и т. д. Несмотря на это, враждебные контрреволюционные мотивы в целом ряде случаев звучат совершенно ясно и недвусмысленно».

Здесь критик не столь агрессивен, как в отзыве на Заболоцкого. Речь идёт только о мотивах, но такое определение, как «заклятый враг», отсутствует. Причины «снисходительного» отношения критика к Корнилову историкам остались неизвестны. Возможно, Лесючевский не переносил сатирических стихов, которыми увлекался Заболоцкий, ну а Корнилова можно обвинить лишь в том, что его последние стихи слишком трагичны для советского поэта. Скорее всего, в 1937 году, когда был написан отзыв на стихи Корнилова, борьба с «враждебными элементами» ещё не достигла того накала, как в следующем году, поэтому и рецензии были сдержанными.

Однако вот что хотелось бы понять. Почему все как один взелись именно на Лесючевского? Раскройте «Правду», № 199 за 1933 год, и сразу убедитесь, что у Лесючевского был не менее талантливый предшественник. Это никто иной, как Владимир Ермилов, хорошо известный в прежние времена литературный критик. Вот что он писал в статье «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов (о "Торжестве земледелия" Н. Заболоцкого)»:

«Одною из масок, надеваемых классовым врагом, является шутство, юродство. Утопить большое, трудное, серьезное революционное дело в потоке юродских, как будто беззлых, просто шутовских слов, обесмыслить, опустить до уровня какой-то вселенской чепухи – вот объективная классовая цель этого юродства. Представителем такого юродства в поэзии является Н. Заболоцкий – поэт, претендующий на своеобразное, неповторимое, оригинальное «видение мира»... нового в поэзии Заболоцкого столько же, сколько в любом старом-престаром буржуазном пасквиле на социализм. Его поэма "Торжество земледелия", напечатанная в № 2-3 ленинградского журнала "Звезда", и является самым ординарным пасквилем на коллективизацию сельского хозяйства. Как издавна представляли и представляют социализм все и всяческие буржуазные пасквилянты? Как торжество ограниченного самодовольства и животной тупости... Наша критика обязана была вскрыть перед широким читателем этот смысл поэмы Заболоцкого».

Здесь, впрочем, нет обвинений в контрреволюционности, хотя присутствует слово «враг». Критикам предлагается всего лишь «вскрыть» смысл, а там уж как партия решит. В этом «вскрытии» преуспела Елена Усиевич, написавшая статью «Под маской юродства» для журнала «Литературный критик». Отдавая дань таланту и мастерству Заболоцкого, Усиевич пишет, что именно поэтому его стихи несут огромную опасность:

«Заболоцкий – автор сложный, нарочито себя усложняющий и массовому читателю мало доступный. Опасность его творчества заключается не в действии его на широкие слои советского читателя, ибо такого рода действенностью его стихи не обладают. Опасность творчества Заболоцкого заключается в том, что его настоящее мастерство с одной стороны и формалистские выверты, которыми он, маскируя свои враждебные тенденции, влияет на ряд молодых вполне советских поэтов, с другой – создают ему учеников и поклонников в таких литературных слоях, за которые мы должны с ним драться, разоблачая его как врага, показывая, чему служит его утонченное и изошренное мастерство, каковы функции его стилизованного примитивизма, его поддельной наивности и наигранного юродства. Нужно сорвать с Заболоцкого эту маску блаженного, оторванного от коллектива, занимающегося «чистой поэзией» мастера, чтобы предостеречь от учебы у него близких нам молодых, талантливых поэтов, от которых талант Заболоцкого заслоняет классовую сущность его творчества».

Возможно, что маску с Заболоцкого тогда всё-таки сорвали и молодых поэтов в какой-то степени предостерегли. Но то ли сделано это было недостаточно умело, то ли времена другие наступили, но через пять лет юродивым его уже никто не называл. Заболоцкий был объявлен заклятым врагом, контрреволюционером со всеми вытекающими для тех лет последствиями.

Но тут есть и ещё одна проблема. Конечно, всё это придумано – и контрреволюционность стихов, и бешеная ненависть Заболоцкого к советской власти. Язвительная сатира, даже издевательство – всё это было. А в результате нарушался процесс воспитания советской молодёжи, и в юных головах могли возникнуть ненужные сомнения. И что тут остаётся предпринять? Понятно, что поэта невозможно переделать. То, что он пишет, это песня или крик его души.

Припомнилось, что Батюшков писал в своём послании Жуковскому:

«Во всём согласен с тобой насчёт поэзии. Мы смотрим на неё с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы».

Так что же получается – Лесючевский почувствовал в стихах враждебный настрой автора против существующего строя? В чём можно его упрекнуть? Что можно возразить ему, если некоторые строки Заболоцкого явили ему «контрреволюционный образ»? Пусть те, кому нравятся эти стихи, испытывают совсем другие чувства, но критик имеет право на выражение своего отношения к такой поэзии.

Тут возникает самый главный, как мне кажется, вопрос. Сознал ли Николай Лесючевский, что его правдивый, вроде бы чистосердечный отзыв и в 1937, и в 1938 году был равнозначен приговору? Был ли критик кровожаден или старался выслужиться, поскольку был не вполне пролетарского происхождения? К сожалению, о Лесючевском известно очень мало – будто бы родился он в Курской губернии. Сведений о родителях и вовсе нет. Правда, есть одна зацепка – в дореволюционные годы жил в Петербурге Иван Ефимович Лесючевский, статский советник, ревизор губернского управления, занимавшегося поставками продовольствия для казённых предприятий. Там же, в Ленинграде, учился и начинал свою трудовую деятельность и Николай Васильевич Лесючевский. Если предположить тут родственную связь, то могут возникнуть сомнения в подлинности сведений, изложенных в его автобиографии. Скорее всего, ему было что скрывать, а потому и писал весьма жёсткие критические отзывы. Говорят, что лучшая защита – это нападение. Вот и Николай Васильевич нападал, но только не на тех, кого боялся.

## Глава 5. Баллада о поэтах

Эта глава посвящена нескольким поэтам, возможно, в равной степени талантливым, однако непохожим друг на друга в том, что касается их мировосприятия и понимания того, каким путём должна идти Россия. Различия выявились и в характерах – в лихую годину кто-то из них оказался слаб, а кто-то проявил невиданную стойкость.

Начнём с Ольги Берггольц, вот отрывок из её статьи, написанной весной 1932 года, когда ленинградской поэтессе исполнилось чуть больше двадцати лет:

«Надо быть буржуазным реакционером, чтобы утверждать, что Хармс и Введенский являются ведущим отрядом советской детской поэзии... Это доведенная до абсурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая ребенка от действительности, усыпляющая классовое сознание ребенка. Совершенно ясно, что в наших условиях обостренно-классовой борьбы – это классово-враждебная, контрреволюционная пропаганда».

Надо отметить, что к моменту появления статьи следствие по делу Хармса было в основном закончено, так что даже при большом желании эту статью не назовёшь доносом. Это всего лишь праведный гнев убеждённой сторонницы советской власти, и не её вина, что литературные баталии в те времена нередко заканчивались уголовным наказанием в виде ссылки или пребывания в местах ещё более отдалённых.

Прошло девять лет, и в дневнике Ольги Берггольц появляется такая запись:

«Юра Г. написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском. Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо».

Здесь речь идёт о сборнике «Рассказы о Дзержинском», который написал Юрий Герман. Но что случилось за прошедшие годы? Что так повлияло на отношение поэтессы к людям, создававшим государство, интересы которого были когда-то её жизненным приоритетом?

Гонения на поэтессу начались в мае 1937 года, той самой «весною, в час небывало жаркого заката», события которой Михаил Булгаков описал в своём романе, в главе «Великий бал у сатаны». 22 мая арестовали Михаила Тухачевского, а через неделю состоялось заседание партийного комитета завода «Электросила» имени С. М. Кирова. Вот выдержка из протокола:

«Авербах и группа вели работу по созданию новой подпольной группы... Берггольц тоже была и вращалась в этой группе. Она всей правды не сказала, она вела себя неискренне. Ольга Берггольц неглупый человек, политически развитый и культурно. Она хотела вращаться в кругу власти имущих. Дружила с Авербахом – генеральным секретарем РАППа. У ней была с ним тесная связь, вела с ним переписку. Была связана с Макарьевым – правой рукой Авербаха, ныне расстрелянным. К Горькому не всякий мог попасть, но она через связь с Авербахом была у него. Опередела в этом других писателей. Она жила с Корниловым, дружила с Германом и т.д. Это стыдно признаться, что у нас был такой коммунист».

Мнение партийцев было учтено, и в конце 1938 года Берггольц арестовали по обвинению «в связи с врагами народа». Вероятно, одной из причин ареста стало то, что стихи Ольги Берггольц и стихи её первого мужа, Бориса Корнилова, высоко ценил и печатал в газете «Известия» её тогдашний главный редактор Николай Бухарин. После завершения судебного процесса над «любимцем партии» репрессии обрушились на тех людей, которым он симпатизировал. Корнилов был расстрелян, ну а Берггольц больше повезло, если только можно назвать везением несколько месяцев тюремного кошмара. И всё-таки судьба над поэтессой сжалась – через полгода она была освобождена и полностью реабилитирована. Всё бы ничего, однако из-за побоев Берггольц потеряла своего ещё не родившегося ребёнка. Такими словами она описывала своё возвращение к жизни:

«Зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)? И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "Живи"».

Находясь в заключении, Ольга Берггольц ни в чём не призналась и никого не оговорила, как ни настаивали на этом следователи. Потом было её письмо в ЦК, и в итоге повезло – разобрались, освободили, восстановили членство в партии. Считается, что освобождение стало следствием смены руководства НКВД, когда с приходом Берии были пересмотрены некоторые дела осуждённых при Ежове. Что поражает – Берггольц сохранила прежнюю веру в идеалы коммунизма. Другое дело – ненависть к карательным органам, к палачам. Причины этого вполне понятны. Впрочем, неприятие рассказов о Дзержинском не повлияло на отношении поэтессы к Герману – они так и остались близкими друзьями.

Прошло ещё несколько лет, и вот читаем такую запись в «Запретном дневнике» Берггольц:

«Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее... Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилён... Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!! Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу – но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница... В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего...»

Вполне естественно, что и в стихах Берггольц повторяются всё те же мысли и чувства, которые находим в её дневнике:

И молча, только тайно плача,  
зачем-то жили мы опять,  
затем, что не могли иначе  
ни жить, ни плакать, ни дышать...

И вот уже февраль в осаждённом фашистскими войсками Ленинграде:

«Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии. Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, – "и мы пахали!" О, мразь, мразь!».

Вскоре по делам радиокomiteта Ольга Берггольц оказывается в Москве, пытается выбить дополнительное продовольствие для работников радио северной столицы. И хотя многие из её коллег к тому времени уже находятся в эвакуации, она рвётся назад, в свой город, в голодный, блокадный Ленинград. Её там ждут. Надо сказать, что ещё осенью 1941 года у Берггольц была возможность перебраться из осаждённого Ленинграда в солнечную Алма-Ату. Вот как об этом вспоминал Евгений Шварц:

«В октябре примерно стали эвакуировать на самолетах известнейших людей Ленинграда. Шостаковича, Зощенко. Решили эвакуировать Ахматову. Она сказала, что ей нужна спутница, иначе она не доберется до места. Она хотела, чтобы ее сопровождала Берггольц... Вопросы эвакуации решались все там же, глубоко или высоко, что простым глазом не разглядеть. То,

что Ахматова потребовала провожатую, упрощало вопрос. Но необходимо было согласие Берггольц».

Пришлось для сопровождения Ахматовой подыскивать другого человека, поскольку Берггольц после долгих раздумий отказалась. Можно предположить, что не простила Ахматовой безразличия к своей судьбе тогда, после ареста в 38-м. Однако, скорее всего, не сочла возможным бросить близких людей, бежать из родного Ленинграда.

После возвращения из Москвы проходит два тяжких месяца. Берггольц пишет стихи, работает на радио.

«У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она разговаривала с блокадниками стихами. Стихами Ольги Берггольц».

Эти слова из «Блокадной книги» Алексея Адамовича и Даниила Гранина. А вот какие стихи Ольга Берггольц читала ленинградцам – несколько строк из её «Февральского дневника»:

Мы съели хлеб, что был отложен на день,  
в один платок закутались вдвоем,  
и тихо-тихо стало в Ленинграде.  
Один, стуча, трудился метроном...

Здесь и в помине нет мыслей, которые преследовали её после освобождения из тюрьмы – о недоверии к власти, о палачах из НКВД. Всё стало несущественным, кроме одного – помочь ленинградцам выстоять и победить фашистов:

Мы будем драться с беззаветной силой,  
Мы одолеем бешеных зверей,  
Мы победим, клянусь тебе, Россия,  
От имени российских матерей...

А в ответ шли письма от благодарных ленинградцев:

«Я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, – я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять – слышу ваше выступление и стихи... И чувствую, что есть жизнь».

Закончилась война, и «муза блокадного Ленинграда» вновь оказывается в опале. Стоило ей поддержать Анну Ахматову после известного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году, как тут же нашлись желающие упрекнуть Берггольц в том, что присутствует пессимизм в её блокадных стихах, что есть элементы пошлости в одной из её поэм. Но к счастью, до серьёзных обвинений на сей раз не дошло.

Вернёмся к той статье Ольги Берггольц, которая была опубликована в 1932 году. Мне приходилось читать, что её гневный пафос, направленный против Хармса, это всего лишь следствие революционного романтизма юной поэтессы. Думаю, что это не совсем так – Берггольц стала убеждённой коммунисткой ещё до того, как вступила в партию, и даже несправедливый приговор, обида на мучителей, разочарование в людях, которые руководят страной, не поколебали её веры. Она работала для людей, и власть вынуждена была оценить подвижничество поэтессы – наградой стали орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени и Сталинская премия.

В отличие от Ольги Берггольц, выросшей на берегах Невы, Николай Клюев не был сторонником большевиков, хотя принимал участие в событиях 1905 года и даже получил тюремный срок за агитацию крестьян против самодержавной власти. Сложившийся поэт к 1910 году, когда Берггольц только появилась на свет, в начале 20-х годов он был близок к левозеро-вской литературной группировке «Скифы». Изданные в 1912 году сборники стихов "Сосен перезвон" и "Братские песни" сделали Клюева знаменитым. Традиционный крестьянский уклад и православная вера – вот идейная основа его поэзии. К этому следует добавить непривычное для

большинства мужчин пристрастие к представителям своего пола, что нашло отражение в его поэзии.

Трагическую роль в судьбе поэта сыграла вышедшая из печати в 1930 году книга Осипа Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика», направленная против творчества нескольких поэтов, в том числе и Клюева. Вслед за этим на публикацию стихов поэта наложен был запрет. Солженицын дал такую характеристику Бескину: «принципиальный, идейный критик, литературный доносчик». Одно другому не мешает, и всё же Бескина отчасти оправдывает то, что он считал себя участником борьбы с врагами коммунизма – примерно те же побудительные мотивы были у Берггольц при написании статьи о Хармсе. Надо признать, что в дискуссиях любые выражения допустимы, кроме нецензурных, но тут ситуация особая – в период «обострения классово-борьбы» столь жёсткая критика могла привести к трагическим последствиям для «провинившихся» поэтов.

Зимой 1934 года Клюев был арестован по обвинению в «составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений» и по решению суда сослан в Нарымский край. В первоначальном приговоре значилось «пять лет лагерей», однако наказание смягчили благодаря заступничеству Горького.

В ответ на вопрос следователя, каковы его взгляды на советскую действительность и отношение к политике коммунистической партии и советской власти, Клюев, если верить протоколу допроса, заявил:

«Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике коммунистической партии и советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями».

В материалах дела приведены, в частности, такие стихи:

Скрипит иудина осина  
И плещет вороном зобатым,  
Доволен лакомством богатым,  
О ржавый череп чистя нос,  
Он трубит в темь: колхоз, колхоз!

Но основной причиной ссылки Клюев посчитал свою поэму «Погорельщина», которую некоторые чиновники восприняли как язвительную сатиру на коллективизацию – так он и написал своему приятелю, что на «Погорельщине» сгорел. Впрочем, есть и другая версия ареста:

Из протокола допроса Николая Клюева в ОГПУ:

Вопрос: К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?

Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г...

Гомосексуальные отношения ещё в начале прошлого века стали чем-то вроде модного увлечения среди творческой элиты. Считается, что помимо Клюева грешили этим и другие известные поэты – в частности, Михаил Кузмин и даже сам Сергей Есенин, у которого в то же время отбоя не было от жаждущих любви поклонниц. Чем объясняется тяга Клюева к мужчинам, не станем выяснять. Важно лишь то, что один из его учеников, поэт Павел Васильев, как-то в разговоре со свояком Иваном Гронским обмолвился о странном увлечении Николая Клюева. Надо иметь в виду, что к этому времени уже принят был закон, по которому мужеложество наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет. Понятно, что старый большевик, ответственный секретарь «Известий» был возмущён безнравственным поведением известного поэта и, по словам Виталия Шенталинского, обратился к одному из руководителей ОГПУ Генриху Ягоде с предложением избавить советскую поэзию от чуждого ей элемента. Что и было сделано – для начала ограничились только ссылкой, а в 1937 году поэт был снова арестован и затем расстрелян.

Судьба не пощадила и невольного соучастника расправы над Николаем Клюевым. Павла Васильева не назовёшь автором доноса, однако в те времена слова нередко оказывались опаснее нагана и самого острого ножа. Ещё в начале 30-х годов ничто не предвещало будущих несчастий, поэт радовался жизни, влюблялся и писал великолепные стихи:

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,  
Всё в тебе ценя и прославляя,  
Смотрит долго умный наш народ,  
Называет «прелестью» и «павой»  
И шумит вослед за величавой:  
«По стране красавица идёт»...  
Так идёт, что ветви зеленеют,  
Так идёт, что соловьи чумеют,  
Так идёт, что облака стоят.  
Так идёт, пшеничная от света,  
Больше всех любовью разогрета,  
В солнце вся от макушки до пят.

Однако не дремали и противники «крестьянской вольницы». Достаточно привести названия статей главного редактора Изогиза Осипа Бескина, написанных в это же время: «Бард кулацкой деревни», «Кулацкая литература». Впрочем, в одной из своих статей в конце 1933 года Бескин отдаёт должное поэтическому дару Павла Васильева:

«Бросается в глаза огромная смелость, индивидуальная образность, свободное обращение с настоящей, материально осязаемой и всегда особенной плотью вещей. Его поэзия вобрала в себя ценнейшее наследие народного творчества... Перед нами, безусловно, большой поэт».

И вместе с тем, анализируя поэму «Соляной бунт», добавляет ложку дёгтя:

«Уж больно насыщено всё произведение любованием ядрённостью, "богатырской" силой, лихой разудалостью, крепостью домовитых устоев казацкой жизни... Образно-поэтическая акцентировка такова, что это "любование" подталкивает поэта на классово враждебные нашей революции позиции».

Такие «резкие удары критики» Елена Усиевич называла средством перевоспитания поэта.

В апреле 1933 года состоялось обсуждение путей развития советской поэзии в редакции «Нового мира». Вот отрывок из критического выступления Ивана Гронского:

«Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции. Это резко, это грубо, но это правда...»

Впрочем, Гронский выразил надежду на то, что поэт ещё способен «совершить прыжок в сторону революции».

Увы, Васильев не оправдал надежд, и летом 1934 года сразу в нескольких центральных газетах появилась статья Максима Горького «О литературных забавах». В ней были и такие слова:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его "кондовой мужицкой силищей" и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно "взирают" на порчу литератур-

ных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа».

Надо признать, что слухи о проказах и непристойном поведении молодого поэта были известны всей Москве – к его «художествам» относились снисходительно. Хотя одна из таких проказ не раз приводила к обмороку слишком чувствительных молодых дам. Всё начиналось с того, что Васильев покупал на бойне коровье вымя, запасался ножницами и, спрятав вымя под пальто, отправлялся на бульвар в поисках подходящей жертвы... Дальше не буду продолжать, дабы не спровоцировать кого-то на повторение этой «шалости». Могу лишь заметить, что наблюдавшие за Васильевым друзья были в неопишемом восторге.

Казалось бы, всё это пустяки, однако после того, как Горький не исключил возможности превращения поэта-хулигана в фашиствующего молодчика, пришлось принимать решительные меры. В январе 1935 года Васильева исключают из Союза писателей, а через несколько месяцев случился новый скандал – Васильев якобы избил поэта Алтаузена, причём в его собственной квартире. Ходили слухи, что после драки Васильев «ходил по Москве с дубинкой и хвастался всем, показывая на ней запекшуюся кровь». Можно предположить, что всё это было провокацией, организованной врагами популярного поэта, однако реакция на случившееся последовала лишь через несколько месяцев. Сначала «Правда» опубликовала письмо двадцати литераторов, которые потребовали «принять решительные меры против хулигана», а вскоре после этого Васильев был арестован. Из трёх лет в лагерях поэт не отсидел и года – видимо, Гронский, заступившись за поэта, ещё надеялся на его перевоспитание, на то, что жестокий урок заставит хулигана сделать шаг в нужном направлении, воспринять идеи революции.

После досрочного освобождения Васильев уезжает в Сибирь, но в январе 1937 года возвращается в Москву и присутствует на «бухаринском» процессе. Об этом эпизоде рассказал Роберт Конквест в своей книге «Большой террор»:

«Павел Васильев выступил в защиту Бухарина, назвав его "человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России". Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. "Это порнографические каракули на полях русской литературы"».

Вскоре после этого скандал последовал арест. Васильева обвинили ни много ни мало в подготовке покушения на Сталина в составе группы террористов. Если бы в личном деле поэта упоминались поездки за границу, то можно было бы обвинить и в шпионаже, что гораздо проще. А здесь нашли не менее убийственный эквивалент.

Оказалось, что драки с коллегами и прочие шалости поэта не идут ни в какое сравнение с тем, что стало жуткой реальностью в тюрьме НКВД. Поэт очень скоро всё признал, всё подписал, оговорив ни в чём не повинных знакомых и друзей, и всё ещё надеясь на спасение, отправил письмо наркому внутренних дел товарищу Ежову. Вот отрывок из этих покаяний:

«Начиная с 1929 года, я, встав на литературный путь, с самого начала оказался среди врагов советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков... и прочая антисоветская компания... Семь лет я был окружен антисоветской средой... Изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной и политической неустойчивостью и пьянством... Ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт... Враги соввласти А. Веселый, Наседкин и другие подхватывали это, прибавляя... "неоцененный, несправедливо затираемый советской общественностью, советской властью". На почве этих разговоров пышно расцветали мои шовинистические и контрреволюционные настроения... Кроме того, в бытовом отношении я стал просто нетерпим как хулиган и дебошир... Теперь я с ужасом вижу, что был на краю... Мне хочется многое сказать, но вместе с тем со стыдом ощущаю, что вследствие неоднократного обмана я не заслужил доверия, а

мне сейчас больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было...»

Нетрудно догадаться, что Ежов в раскаяние поэта не поверил. Впрочем, на всякий случай показания на «политических подлецов» подшили к его делу. Эти признания поэта и вправду пригодились – уже через полтора месяца после того, как оформили обвинительное заключение на Васильева, был арестован поэт Сергей Клычков, ещё один «бард кулацкой деревни» по образному определению Осипа Бескина.

Однако хватит о грустном. Перенесёмся на много лет вперёд, в другие, более спокойные времена, когда после некоторого затишья снова развернулись баталии вокруг поэзии. На этот раз объектом критических статей стал Дмитрий Быков. Мне любопытно было бы сравнить, чем нынешняя критика отличается от той, что процветала в прошлом, и можно ли статью какого-либо обличителя назвать таким ужасным словом, как донос.

Начнём с восторженного отзыва филолога Дмитрия Бака, ко времени написания статьи о Быкове в журнале «Октябрь» занимавшего должность проректора РГГУ – университета, ставшего широко известным благодаря скандалу с ЮКОСом и приютившего не малое количество граждан, обиженных на власть. Вот что Бак написал о Быкове: «Он, без всяких оговорок, именно лирик, один из немногих в сегодняшней поэзии». Оправданием столь яркому и недвусмысленному определению может служить лишь то, что ко времени написания цитируемой статьи Быков ещё не увлёкся ни «гражданином», ни «поэтом». Возможно, отечественная поэзия и впрямь в нынешние времена не в лучшем состоянии, однако об этом не берусь судить – это дело филологов, способных весь поэтический массив переварить, то есть, прошу прощения, осмыслить. Я не берусь за недостатком времени.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.